

Антология Сатиры и Юмора России XX века



Аркадий Аверченко



Аркадий Тимофеевич Аверченко

Король смеха

Текст предоставлен правообладателем.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=435395

Антология Сатиры и Юмора России XX века. Том 20. Аркадий

Аверченко: Эксмо; Москва; 2007

ISBN 978-5-699-00932-9

Аннотация

Некоторые древние мыслители считали, что человека можно определить как «животное, умеющее смеяться». И думается, в какой-то степени были правы, ибо не только умение ходить на двух ногах и трудовая деятельность выделили людей из животного мира, помогли выжить и пройти через все мыслимые и немыслимые испытания многотысячелетней истории, но и способность смеяться. Потому-то умевшие рассмешить пользовались популярностью во все века и у всех народов. Короли могли себе позволить держать при дворе шутов, а простой люд собирался на площадях, чтобы посмотреть представления странствующих комедиантов или скоморохов.

Интересно, что со временем появился титул короля смеха. Им награждали тех, кто достигал наибольших успехов в этом искусстве.

С конца первого десятилетия нашего века в России нигде официально не утвержденный титул короля смеха принадлежал Аркадию Аверченко.

Содержание

«Король смеха»	8
Автобиография	21
Король смеха	35
Веселые устрицы	35
Кто ее продал...	35
I	35
II	36
III	40
Бедствие	41
I	41
II	43
III	44
IV	45
Люди	45
Робинзоны	50
Спермин	55
Господин Цацкин	60
«Аполлон»	66
Еще воспоминания о Чехове	72
I	73
II	76
Воспоминания о Чехове	77
Неизлечимые	78

Золотой век	83
I	83
II	85
III	86
IV	87
V	89
Четверг	90
Мозаика	101
I	101
II	108
III	109
IV	110
Четверо	113
I	113
II	115
III	117
IV	118
Ложь	123
Круги по воде	133
Граждане	133
I	133
II	136
III	138
Чад	142
Курильщики опиума	152
I	152

II	156
III	158
Язык	161
I	161
II	164
Цепная собака	170
I	170
II	173
III	176
IV	178
V	179
Как меня обворовывали	180
I	180
II	184
III	187
Дураки, которых я знал	190
I. Удивительный конкурс	190
II. Конкуренты	193
III. Итоги	197
Мокрица	199
II	203
III	205
Лакмусовая бумажка	207
I	207
II	210
III	214

Революционер	217
Призвание	225
II	227
III	230
IV	232
О хороших, в сущности, людях!	234
Юмор для дураков	234
Одиннадцать слонов	240
I	240
II	244
III	245
IV	248
Наслаждение жизнью	250
I	250
II	253
Фат	256
Сельскохозяйственный рассказ	259
II	263
III	263
Слабая струна	267
Конец ознакомительного фрагмента.	271

Аркадий Аверченко Антология Сатиры и Юмора России XX века. Том 20.

«Король смеха»

Некоторые древние мыслители считали, что человека можно определить как «животное, умеющее смеяться». И думается, в какой-то степени были правы, ибо не только умение ходить на двух ногах и трудовая деятельность выделили людей из животного мира, помогли выжить и пройти через все мыслимые и немыслимые испытания многотысячелетней истории, но и способность смеяться. Потому-то умевшие рассмешить пользовались популярностью во все века и у всех народов. Короли могли себе позволить держать при дворе шутов, а простой люд собирался на площадях, чтобы посмотреть представления странствующих комедиантов или скоморохов.

Интересно, что со временем появился титул короля смеха. Им награждали тех, кто достигал наибольших успехов в этом искусстве.

С конца первого десятилетия нашего века в России нигде официально не утвержденный титул короля смеха принадлежал Аркадию Аверченко.

Первые годы жизни, отрочество и юность Аверченко, казалось, не оставляли никаких надежд на будущее. В смешной «Автобиографии», которой открывалась одна из первых книг писателя «Веселые устрицы», Аверченко дал несколько фрагментов своей долитературной жизни.

Некоторые дополнительные моменты мы находим в автобиографии, отправленной известному историку литературы Семену Афанасьевичу Венгерову в начале 1910 года: «Имя мое – Аркадий Тимофеевич Аверченко. Родился в Севастополе 1881 года 15 марта. Вероисповедания – православно-го. Отец был купцом, мать из мещан. Историю моего рода за недостаточностью данных проследить трудно. Известно только, что дед мой (по матери) был атаманом шайки разбойников, держал под Полтавой постоянный двор и безо всякого зазрения совести грабил проезжих по большой дороге. Мать моя – добрая, кроткая женщина – вспоминает об этом с ужасом... Мой отец был очень хорошим человеком, но крайне плохим купцом. Сочетание этих двух свойств привело к тому, что он совершенно разорился к тому времени, когда мне исполнилось 10 лет... Поэтому учиться пришлось дома, с помощью старших сестер – довольно скудно... Будучи пятнадцатилетним застенчивым мальчишкой, попал на Брянский

каменноугольный рудник (около Луганска) писцом и служил в ужасной, кошмарной обстановке безвыходной ямы – три года. Потом переехал в Харьков на службу в той же акционерной компании». Отголоски детских и юношеских впечатлений мы находим в рассказах Аверченко «О паровых гудках», «Молния», «Отец», «Смерть африканского охотника», «Ресторан «Венецианский карнавал», «Три желудя» и многих других. Обстановка, в которую окунулся пошедший «в люди» застенчивый мальчишка, едва ли давала много поводов для смеха. «То конторщик Паланкинов запьет и в пьяном виде получит выговор от директора, то штейгера ко-рова взбесится, то свиньи съедят сынишку кухарки чертежника. А однажды рудничный врач в пьяном виде отрезал рабочему совсем не ту ногу, которую следовало...» Это беспробудное пьянство сопровождалось унижением и оскорблением младших по службе старшими.

В стремлении вырваться из этого засасывающего болота повседневности, из этой беспросветности Аркадий Аверченко обращается к литературному труду (несколькими годами ранее сходный путь по ту сторону океана прошел Джек Лондон).

В Харькове Аверченко делает первые литературные шаги. «Самым значительным событием моей жизни считаю появление в печати моего первого литературного опыта – рассказа «Праведник» («Журнал для всех», апрель 1904 г., № 4), – сообщал Аверченко Венгерову. – Но писал я тогда мало и

напечатал всего несколько жалких юмористических рассказов в «Харьковских губернских ведомостях».

В 1906 году писатель основал журнал сатирической литературы и юмора с рисунками в красках «Штык», который имел в Харькове и даже за его пределами крупный успех. «Я наполнял весь номер, пища, редактируя и корректируя», – вспоминал Аверченко. Жизнь журнала оказалась недолговечной. На 9-м номере юного редактора оштрафовали на 500 рублей. Заплатить штраф он не смог, да и не хотел, и журнал закрыли.

Но, познав радость первых побед, Аверченко не складывает оружия и в 1907 году открывает новый журнал – «Меч». Впрочем, на третьем номере его постигает участь предшественника.

Революционный подъем кончился, возникшие в период 1905 – 1907 гг. многочисленные сатирические издания – «Пулемет», «Молот», «Сигнал», «Удаль», «Барабан» и др. – были закрыты.

И вот в эту пору Аверченко приезжает в Петербург, чтобы его покорить. Когда это произошло точно, установить нельзя. В автобиографии, посланной С.А. Венгерову, писатель сообщал, что приехал в Петербург 24 декабря 1907 г., в письме В. Быкову утверждал, что оказался в Петербурге в январе 1908 года. Несколько разнятся также сведения об обстоятельствах создания нового «еженедельного журнала сатиры и юмора» «Сатирикон». Зато точно известно, что первый

его номер вышел 1 апреля 1908 года и что главная роль в его создании принадлежит Аверченко. Итак, «пришел, увидел, победил». Всего три месяца или и того менее прошло с момента приезда в Петербург, как безвестный провинциальный самодеятельный журналист становится ведущим сотрудником, а вскоре и редактором (спустя несколько лет основным владельцем) журнала, который в течение последующего десятилетия станет самым популярным изданием дореволюционной России.

Начав сотрудничество в отживавшей свой век «Стрекозе», Аверченко сумел организовать и сплотить вокруг себя группу единомышленников, которые и приняли решение о создании нового журнала, а с 1 июня 1908 года о слиянии «Сатирикона» и «Стрекозы» в один журнал – «Сатирикон».

Аркадий Аверченко прекрасно понимал значение созданного им журнала и того дела, которым он занимается. И сказал об этом прямо на страницах уже «Нового Сатирикона» в 1913 году в статье «Мы за пять лет». Лаконично, в нескольких строчках, он рисует крах революционных надежд после 1905 г. и наступление реакции: «Когда я приехал в Петербург (это было в начале 1908 года) – в окна редакций уже заглядывали зловещие лица «тещи», «купца, подвыпившего на маскараде», «дачника, угнетенного дачей» – и тому подобных персонажей русских юмористических листков, десятки лет питавшихся этой полусгнившей дрянью».

Уже из этих строк ясно, что Аверченко привлекали отнюдь не гастрономические и обывательские темы, как это упорно и по сию пору ему вменяют в вину. Тематика журнала была чрезвычайно широкой. Несмотря на цензурные рогатки. В той же статье, объясняя читателю отсутствие материалов на определенные темы, Аверченко отмечает: «Перечислю только то, чего нам категорически запрещено касаться:

- 1) Военных (даже бытовые рисунки).
- 2) Голодающих крестьян.
- 3) Монахов (даже самых скверных).
- 4) Министров (даже самых бездарных).

А в последнем номере не пропущена даже карикатура, осмеивающая «Новое Время».

Из многих номеров цензурой изымались фельетоны и карикатуры, редактора (Аверченко) неоднократно штрафовали. Все это говорит об определенной общественной позиции писателя. Эта позиция отражена и в его собственном литературном творчестве.

Время работы в «Сатириконе» (и «Новом Сатириконе») явилось самым плодотворным для таких писателей, поэтов, художников, как Тэффи, Петр Потемкин, Саша Черный, Осип Дымов, Георгий Ландау, Аркадий Бухов, Александр Радаков, Александр Рославлев, Ре-Ми, Василий Князев, ну и, конечно же, сам Аверченко.

Атмосфера доброжелательности, которую сумел создать

Аверченко в журнале, общие интересы сплачивали коллектив.

Талант человеческого общения счастливо сочетался у Аверченко с его природным литературным даром, и это сочетание находило живой отклик и пробуждало лучшие качества у тех, кто с ним встречался, влекло к нему. Известный критик Петр Пильский, хорошо знавший Аверченко, отмечал: «...все, что он делал, было неизменно овеяно какой-то сердечной легкостью, окружено радостным дружелюбием, всегда сопровождалось удачами и счастьем.

В нем жила какая-то внутренняя свобода. С первых же слов он производил ясное впечатление смелости и прямоты. Казался очень уравновешенным и спокойным. Был насмешлив, но не дерзок, был выдержан, никогда не лгал, умел быть снисходительным к другим, внутренне строгим к себе, не растил в своей душе цветов зла и отместки...»

Надежда Александровна Тэффи была одной из наиболее талантливых сотрудниц «Сатирикона». Ее рассказы и фельетоны появлялись на страницах журнала чуть ли не еженедельно, а сборники рассказов, умных и проникнутых тонким юмором, расходились мгновенно и большими тиражами.

Помимо постоянных авторов «Сатирикона» и «Нового Сатирикона» Аверченко сумел привлечь к сотрудничеству таких замечательных поэтов и прозаиков, как Л. Андреев, А.

Грин, А. Куприн, Н. Гумилев, О. Мандельштам, С. Маршак, В. Маяковский, А.Н. Толстой, П. Орешин, С. Городецкий...

Нельзя сказать, что Аверченко был безразлично ровным со всеми, с кем ему приходилось общаться. В середине 1913 года в результате расхождений во взглядах на направленность журнала (и в связи с денежными делами) редакция «Сатирикона» раскололась. Тогда и возник «Новый Сатирикон». И большинство пошло за Аверченко в «Новый Сатирикон».

Его личность, его внутренняя сила, самобытность выделяли его из писательской среды. И вызывали уважение. Посредственности и графомании Аверченко не терпел (достаточно только почитать его отповеди в «Почтовом ящике» журнала), но стоило ему увидеть в начинающем писателе хоть крупицу таланта, он готов был всячески поощрять и поддерживать. Свидетельств тому масса. В «Сатириконе» и «Новом Сатириконе» начинали многие авторы, ставшие потом известными писателями, причем их произведения не лежали месяцами и годами в редакторском столе, а печатались в течение двух-трех недель.

В 1910 году вышли три первых сборника Аркадия Аверченко – «Юмористические рассказы», «Веселые устрицы» и «Зайчики на стене», а затем каждый год выходили две-три книги и переиздавались вышедшие ранее: «Круги по воде», «О хороших, в сущности, людях», «Черным по бело-

му», «Рассказы для выздоравливающих», «Сорные травы», «Записки театральной крысы», «Шалуны и ротозеи», «О маленьких – для больших», «Позолоченные пилюли», «Синее с золотом», «Чудеса в решете»...

В 1911 году Аверченко и трое его сотрудников (писатель Георгий Ландау, художники Радаков и Ре-Ми) предприняли длительное путешествие в Западную Европу. Несколько месяцев они колесили по Европе, побывали в Германии, Австрии, Швейцарии, Италии, Франции, Испании, Португалии, заезжали на Капри к Горькому... По приезде выпустили большую книгу с иллюстрациями – «Экспедиция в Западную Европу». Однако даже вдали от родины Аверченко не мог отвлечься от русских тем и сюжетов. Рассказы, появлявшиеся в журнале с пометкой: «Рим», «Мюнхен» или «Тироль», повествовали вовсе не об альпийских красотах или ласковых водах Тирренского моря, а о событиях в каком-нибудь Старом Овраге или Нижней Гоголевке...

Февральскую революцию вся редакция «Нового Сатирикона» встретила с восторгом. Сатириконцы приветствовали падение прогнившего царского режима и ожидаемые демократические реформы. Однако вскоре после первых восторгов наступает разочарование, и на страницах «Нового Сатирикона» высмеивается временное правительство, бездарность его министров, беспринципность и беспомощность, неумение овладеть обстановкой. Крах временного прави-

тельства представляется Аверченко и его сотрудникам вполне закономерным. Но и победа большевиков вовсе его не радует. Обостряющиеся классовые схватки, углубление разрухи, вызванной мировой войной, экономические тяготы и трудности быта, которые, разумеется, нельзя было быстро преодолеть в условиях начавшейся гражданской войны, вызывают неприятие у писателя. «Новый Сатирикон» еще существует, но он доживает последние дни. Его позиция слишком разительно расходится с позицией большевистских изданий. Аверченко применяет к происходящему общечеловеческие, гуманистические критерии, тогда как победившие классы требуют резкого определения классовых позиций. Разумеется, Аркадий Аверченко, боровшийся всегда за справедливость и демократическую законность, не может принять таких явлений, как, скажем, расстрел в 1918 году 500 заложников (представителей бывших так называемых эксплуататорских классов) за убийство председателя Петроградской ВЧК Урицкого. Подобно В. Г. Короленко, осуждавшему в письмах к А. В. Луначарскому аналогичные методы классовой борьбы, применявшиеся новой властью, Аверченко выступает в своем журнале с резкой критикой тех эксцессов, свидетелем которых неоднократно был сам: расстрелов без суда и следствия прямо на улице, неизвестно кем санкционированных и необоснованных обысков, арестов, экспроприации имущества. Аверченко полагает, что происходящие эксцессы не имеют ничего общего с марксизмом, и на облож-

ке юбилейного номера журнала, посвященного столетию со дня рождения Маркса, рядом с портретом основоположника научного коммунизма идут надписи: «Карл Маркс. 1818. Родился в Германии. 1918. Похоронен в России».

Революция оказалась не такой, как ее себе представлял писатель. Она не принесла сразу изобилия. Рушился привычный, налаженный быт, под угрозой было дело жизни Аверченко – «Новый Сатирикон». Царское правительство его штрафовало и снимало наиболее острые материалы из журнала. Новое правительство во второй половине 1918 года вообще закрыло журнал, потому что антисоветская направленность его становилась все более очевидной.

Вместе с группой работников журнала Аверченко отправился на юг. Сначала он в Ростове-на-Дону сотрудничал в газетах «Приазовский край» и «Юг России», а в конце октября 1920 года вместе с остатками врангелевских войск отплыл в Константинополь.

Ни в Севастополе, где он провел почти год до эмиграции, ни в Константинополе Аверченко не переставал писать. Писал о деградации культуры в условиях гражданской войны, о бесприютности, обнищании, писал о беспросветном, трагикомическом бытии выброшенных на константинопольский берег бывших российских граждан.

Активности, работоспособности Аверченко не теряет. «Кипящий котел», «Записки Простодушного. Я в Европе», «Дюжина ножей в спину революции», «Дети», «Смешное в

страшном», «Отдых на крапиве», «Записки циника» – эти и другие новые книги писателя выходят в Берлине, Константинополе, Праге, Париже, Варшаве, Загребе. С основанным им в Константинополе эстрадным театром «Гнездо перелетных птиц» Аверченко побывал на гастролях во многих странах Европы.

Наконец писатель поселяется в Праге, где после революции собралась большая русская колония. В конце 1924 года Аверченко тяжело заболел. Он лечился в санатории, и казалось, дело пошло на поправку. И все же вскоре после возвращения с курорта, 28 января 1925 года писатель попадает в Пражскую городскую больницу. И здесь, «на постели 2516, белой железной больничной постели, утром 12 марта скончался Аркадий Тимофеевич Аверченко...»

СТАНИСЛАВ НИКОНЕНКО¹

Необходимое пояснение читателям Антологии: том составлен по принципу хронологии появления в свет книг А.Т. Аверченко, названия которых и вынесены в оглавление. Кроме одного – «Маленькая лениниана»: эти эссе объединены составителем в единый цикл по тематическому признаку,

¹ Станислав Степанович Никоненко – поэт, прозаик, литературовед. Первым в советское время составил и выпустил (1964 г.) сборник А. Аверченко «Оккультные науки». Впоследствии, кроме сборников Аверченко, им были составлены и выпущены книги Тэффи, Ю. Слезкина, Пантелеймона Романова, М. Арцыбашева, собрание сочинений Гайто Газданова и др.

хотя и написаны в разное время.

Автобиография

Еще за пятнадцать минут до рождения я не знал, что появлюсь на белый свет. Это само по себе пустячное указание я делаю лишь потому, что желаю опередить на четверть часа всех других замечательных людей, жизнь которых с утомительным однообразием описывалась непременно с момента рождения. Ну, вот.

Когда акушерка преподнесла меня отцу, он с видом знатока осмотрел то, что я из себя представлял, и воскликнул:

– Держу пари на золотой, что это мальчишка!

«Старая лисица! – подумал я, внутренне усмехнувшись. – Ты играешь наверняка».

С этого разговора и началось наше знакомство, а потом и дружба.

Из скромности я остерегусь указать на тот факт, что в день моего рождения звонили в колокола и было всеобщее народное ликование. Злые языки связывали это ликование с каким-то большим праздником, совпавшим с днем моего появления на свет, но я до сих пор не понимаю, при чем здесь еще какой-то праздник?

Приглядевшись к окружающему, я решил, что мне нужно первым долгом вырасти. Я исполнял это с таким тщанием, что к восьми годам увидел однажды отца берущим меня за руку. Конечно, и до этого отец неоднократно брал меня за

указанную конечность, но предыдущие попытки являлись не более как реальными симптомами отеческой ласки. В настоящем же случае он, кроме того, нахлобучил на головы себе и мне по шляпе – и мы вышли на улицу.

– Куда это нас черти несут? – спросил я с прямизной, всегда меня отличавшей.

– Тебе надо учиться.

– Очень нужно! Не хочу учиться.

– Почему?

Чтобы отвязаться, я сказал первое, что пришло в голову:

– Я болен.

– Что у тебя болит?

Я перебрал на память все свои органы и выбрал самый нежный:

– Глаза.

– Гм... Пойдем к доктору.

Когда мы явились к доктору, я наткнулся на него, на его пациента и свалил маленький столик.

– Ты, мальчик, ничего решительно не видишь?

– Ничего, – ответил я, утаив хвост фразы, который dokonчил в уме: «...хорошего в ученье».

Так я и не занимался науками.

* * *

Легенда о том, что я мальчик больной, хилый, который

не может учиться, росла и укреплялась, и больше всего заботился об этом я сам.

Отец мой, будучи по профессии купцом, не обращал на меня никакого внимания, так как по горло был занят хлопотами и планами: каким бы образом поскорее разориться? Это было мечтой его жизни, и нужно отдать ему полную справедливость – добрый старик достиг своих стремлений самым безукоризненным образом. Он это сделал при соучастии целой плеяды воров, которые обворовывали его магазин, покупателей, которые брали исключительно и планомерно в долг, и – пожаров, испепелявших те из отцовских товаров, которые не были растащены ворами и покупателями.

Воры, пожары и покупатели долгое время стояли стеной между мной и отцом, и я так и остался бы неграмотным, если бы старшим сестрам не пришла в голову забавная, сулившая им массу новых ощущений мысль: заняться моим образованием. Очевидно, я представлял из себя лакомый кусочек, так как из-за весьма сомнительного удовольствия осветить мой ленивый мозг светом знания сестры не только спорили, но однажды даже вступили в рукопашную, и результат схватки – вывихнутый палец – несколько не охладил преподавательского пыла старшей сестры Любы.

Так – на фоне родственной заботливости, любви, пожаров, воров и покупателей – совершался мой рост и развивалось сознательное отношение к окружающему.

Когда мне исполнилось пятнадцать лет, отец, с сожалением распрости́вшийся с ворами, покупателями и пожарами, однажды сказал мне:

– Надо тебе служить.

– Да я не умею, – возразил я, по своему обыкновению выбирая такую позицию, которая могла гарантировать мне полный и безмятежный покой.

– Вздор! – возразил отец. – Сережа Зельцер не старше тебя, а он уже служит!

Этот Сережа был самым большим кошмаром моей юности. Чистенький, аккуратный немчик, наш сосед по дому, Сережа с самого раннего возраста ставился мне в пример как образец выдержанности, трудолюбия и аккуратности.

– Посмотри на Сережу, – говорила печально мать. – Мальчик служит, заслуживает любовь начальства, умеет поговорить, в обществе держится свободно, на гитаре играет, поет... А ты?

Обескураженный этими упреками, я немедленно подходил к гитаре, висевшей на стене, дергал струну, начинал визжать пронзительным голосом какую-то неведомую песню, старался «держаться свободнее», шаркая ногами по стенам, но все это было слабо, все было второго сорта. Сережа оставался недосыгаем!

– Сережа служит, а ты еще не служишь... – упрекнул меня отец.

– Сережа, может быть, дома лягушек ест, – возразил я, подумав. – Так и мне прикажете?

– Прикажу, если понадобится! – гаркнул отец, стуча кулаком по столу. – Чер-рт возьми! Я сделаю из тебя шелкового!

Как человек со вкусом, отец из всех материй предпочитал шелк, и другой материал для меня казался ему неподходящим.

* * *

Помню первый день моей службы, которую я должен был начать в какой-то сонной транспортной конторе по перевозке кладей.

Я забрался туда чуть ли не в восемь часов утра и застал только одного человека в жилете без пиджака, очень приветливого и скромного.

«Это, наверное, и есть главный агент», – подумал я.

– Здравствуйте! – сказал я, крепко пожимая ему руку. – Как делишки?

– Ничего себе. Садитесь, поболтаем!

Мы дружески закурили папиросы, и я завел дипломатичный разговор о своей будущей карьере, рассказав о себе всю подноготную.

Неожиданно сзади нас раздался резкий голос:

– Ты что же, болван, до сих пор даже пыли не стер?!

Тот, в ком я подозревал главного агента, с криком испуга вскочил и схватился за пыльную тряпку. Начальнический голос вновь пришедшего молодого человека убедил меня, что я имею дело с самым главным агентом.

– Здравствуйте, – сказал я. – Как живете-можете? (Общительность и светскость по Сереже Зельцеру.)

– Ничего, – сказал молодой господин. – Вы наш новый служащий? Ого! Очень рад!

Мы дружески разговорились и даже не заметили, как в контору вошел человек средних лет, схвативший молодого господина за плечо и резко крикнувший во все горло:

– Так-то вы, дьявольский дармоед, заготавливаете реестра? Выгоню я вас, если будете лодырничать!

Господин, принятый мною за главного агента, побледнел, опустил печально голову и побрел за свой стол. А главный агент опустился в кресло, откинулся на спинку и стал приватно расспрашивать меня о моих талантах и способностях.

«Дурак я, – думал я про себя. – Как я мог не разобрать раньше, что за птицы мои предыдущие собеседники? Вот этот начальник – так начальник! Сразу уж видно!»

В это время в передней послышалась возня.

– Посмотрите, кто там? – попросил меня главный агент. Я выглянул в переднюю и успокоительно сообщил:

– Какой-то плюгавый старичишка стягивает пальто.

Плюгавый старичишка вошел и закричал:

– Десятый час, а никто из вас ни черта не делает!! Будет ли когда-нибудь этому конец?!

Предыдущий важный начальник подскочил в кресле как мяч, а молодой господин, названный им до того «лодырем», предупредительно сообщил мне на уху:

– Главный агент притащился.

Так я начал свою службу.

* * *

Прослужил я год, все время самым постыдным образом плетясь в хвосте Сережи Зельцера. Этот юноша получал 25 рублей в месяц, когда я получал 15, а когда и я дослужился до 25 рублей, – ему дали 40. Ненавидел я его, как какого-то отвратительного, вымытого душистым мылом паука...

Шестнадцати лет я расстался со своей сонной транспортной конторой и уехал из Севастополя (забыл сказать – это моя родина) на какие-то каменноугольные рудники. Это место было наименее для меня подходящим, и потому, вероятно, я и очутился там по совету своего опытного в житейских передрягах отца...

Это был самый грязный и глухой рудник в свете. Между осенью и другими временами года разница заключалась лишь в том, что осенью грязь была там выше колен, а в другое время – ниже.

И все обитатели этого места пили как сапожники, и я пил

не хуже других. Население было такое небольшое, что одно лицо имело целую уйму должностей и занятий. Повар Кузьма был в то же время и подрядчиком и попечителем рудничной школы, фельдшер был акушеркой, а когда я впервые пришел к известнейшему в тех краях парикмахеру, жена его просила меня немного обождать, так как супруг ее пошел вставлять кому-то стекла, выбитые шахтерами в прошлую ночь.

Эти шахтеры (углекопы) казались мне тоже престранным народом: будучи, большей частью, беглыми с каторги, паспортов они не имели, и отсутствие этой неременной принадлежности российского гражданина заливали с горестным видом и отчаянием в душе – целым морем водки.

Вся их жизнь имела такой вид, что рождались они для водки, работали и губили свое здоровье непосильной работой – ради водки и отпраивались на тот свет при ближайшем участии и помощи той же водки.

Однажды ехал я перед Рождеством с рудника в ближайшее село и видел ряд черных тел, лежавших без движения на всем протяжении моего пути; попадались по двое, по трое через каждые двадцать шагов.

– Что это такое? – изумился я...

– А шахтеры, – улыбнулся сочувственно возница. – Горилку куповалы у селе. Для божьего праздничку.

– Ну?

– Тай не донесли. На мисти высмоктали. Ось как!

Так мы и ехали мимо целых залежей мертвецки пьяных людей, которые обладали, очевидно, настолько слабой волей, что не успевали даже добежать до дому, сдаваясь охватившей их глотки палящей жажде там, где эта жажда их застигала. И лежали они в снегу, с черными бессмысленными лицами, и если бы я не знал дороги до села, то нашел бы ее по этим гигантским черным камням, разбросанным гигантским мальчиком-с-пальчик на всем пути.

Народ это был, однако, по большей части крепкий, закаленный, и самые чудовищные эксперименты над своим телом обходились ему сравнительно дешево. Проламывали друг другу головы, уничтожали начисто носы и уши, а один смельчак даже взялся однажды на заманчивое пари (без сомнения – бутылка водки) съесть динамитный патрон. Пролодав это, он в течение двух-трех дней, несмотря на сильную рвоту, пользовался самым бережливым и заботливым вниманием со стороны товарищей, которые все боялись, что он взорвется.

По миновании же этого странного карантина – был он жестоко избит.

Служащие конторы отличались от рабочих тем, что меньше дрались и больше пили. Все это были люди, по большей части отвергнутые всем остальным светом за бездарность и неспособность к жизни, и, таким образом, на нашем маленьком, окруженном неизмеримыми степями островке собралась самая чудовищная компания глупых, грязных и бездар-

ных алкоголиков, отбросов и обгрызков брезгливого белого света.

Занесенные сюда гигантской метлой божьего произволения, все они махнули рукой на внешний мир и стали жить как бог на душу положит. Пили, играли в карты, ругались презрительными отчаянными словами и во хмелю пели что-то настойчивое, тягучее и танцевали угрюмо-сосредоточенно, ломая каблуками полы и извергая из ослабевших уст целые потоки хулы на человечество.

В этом и состояла веселая сторона рудничной жизни. Темные ее стороны заключались в каторжной работе, шагании по глубочайшей грязи из конторы в колонию и обратно, а также в отсиживании в кордегардии по целому ряду диковинных протоколов, составленных пьяным урядником.

* * *

Когда правление рудников было переведено в Харьков, туда же забрали и меня, и я ожил душой и окреп телом...

По целым дням бродил я по городу, сдвинув шляпу набекрень и независимо насвистывая самые залихватские мотивы, подслушанные мною в летних шантанах – месте, которое восхищало меня сначала до глубины души.

Работал я в конторе преотвратительно и до сих пор недоумеваю: за что держали меня там шесть лет, ленивого, смотревшего на работу с отвращением и по каждому поводу всту-

павшего не только с бухгалтером, но и с директором в длинные, ожесточенные споры и полемику.

Вероятно, потому, что был я превеселым, радостно глядящим на широкий божий мир человеком, с готовностью откладывавшим работу для смеха, шуток и ряда замысловатых анекдотов, что освежало окружающих, погрязших в работе, скучных счетах и дрызгах.

* * *

Литературная моя деятельность была начата в 1904² году и была она, как мне казалось, сплошным триумфом. Во-первых, я написал рассказ... Во-вторых, я отнес его в «Южный край». И в-третьих (до сих пор я того мнения, что в рассказе это самое главное), в-третьих, он был напечатан!

Гонорар я за него почему-то не получил, и это тем более несправедливо, что едва он вышел в свет, как подписка и розница газеты сейчас же удвоилась...

Те же самые завистливые, злые языки, которые пытались связать день моего рождения с каким-то еще другим праздником, связали и факт поднятия розницы с началом рус-

² В «Автобиографии», предпосланной сборнику «Веселые устрицы» (1910), первое выступление Аверченко в печати ошибочно датируется 1905 годом. В 24-м издании сборника, по которому воспроизводится текст, сам автор исправляет дату на 1904 год. В действительности же, как это явствует из дальнейшего текста и подтверждается разысканиями О. Михайлова, наиболее вероятен 1903 год. (Примеч. сост.)

ско-японской войны.

Ну, да мы-то, читатель, знаем с вами, где истина...

Написав за два года четыре рассказа, я решил, что поработал достаточно на пользу родной литературы, и решил основательно отдохнуть, но подкатился 1905 год и, подхватив меня, закрутил как щепку.

Я стал редактировать журнал «Штык», имевший в Харькове большой успех, и совершенно забросил службу... Лихорадочно писал я, рисовал карикатуры, редактировал и корректировал, и на девятом номере дорисовался до того, что генерал-губернатор Пешков оштрафовал меня на 500 рублей, мечтая, что немедленно заплачу их из карманных денег.

Я отказался по многим причинам, главные из которых были: отсутствие денег и нежелание потворствовать капризам легкомысленного администратора.

Увидев мою непоколебимость (штраф был без замены тюремным заключением), Пешков спустил цену до 100 рублей.

Я отказался.

Мы торговались, как маклаки, и я являлся к нему чуть не десять раз. Денег ему так и не удалось выжать из меня! Тогда он, обидевшись, сказал:

– Один из нас должен уехать из Харькова!

– Ваше превосходительство! – возразил я. – Давайте предложим харьковцам: кого они выберут?

Так как в городе меня любили и даже до меня доходили смутные слухи о желании граждан увековечить мой образ

постановкой памятника, то г. Пешков не захотел рисковать своей популярностью.

И я уехал, успев все-таки до отъезда выпустить три номера журнала «Меч», который был так популярен, что экземпляры его можно найти даже в Публичной библиотеке.

* * *

В Петроград я приехал как раз на Новый год. Опять была иллюминация, улицы были украшены флагами, транспарантами и фонариками. Но я уж ничего не скажу! Помолчу.

И так меня иногда упрекают, что я думаю о своих заслугах больше, чем это требуется обычной скромностью. А я — могу дать честное слово, — увидев всю эту иллюминацию и радость, сделал вид, что совершенно не замечаю невинной хитрости и сентиментальных, простодушных попыток муниципалитета скрасить мой первый приезд в большой незнакомый город... Скромно, инкогнито, сел на извозчика и инкогнито поехал на место своей новой жизни. И вот — начал я ее.

Первые мои шаги были связаны с основанным нами журналом «Сатирикон», и до сих пор я люблю, как собственное дитя, этот прекрасный, веселый журнал (в год 8 руб., на полгода 4 руб.).

Успех его был наполовину моим успехом, и я с гордостью могу сказать теперь, что редкий культурный человек не знает нашего «Сатирикона» (на год 8 руб., на полгода 4 руб.).

В этом месте я подхожу уже к последней, ближайшей эре моей жизни, и я не скажу, но всякий поймет, почему я в этом месте умолкаю.

Из чуткой, нежной, до болезненности нежной скромности я умолкаю.

* * *

Не буду перечислять имена тех лиц, которые в последнее время мною заинтересовались и желали со мной познакомиться. Но если читатель вдумается в истинные причины приезда славянской депутации, испанского инфанта и президента Фальера, то, может быть, моя скромная личность, упорно державшаяся в тени, получит совершенно другое освещение...

Король смеха

Веселые устрицы

Кто ее продал...

I

Не так давно «Русское знамя» разоблачило кадетскую газету «Речь»... «Русское знамя» доказало, что вышеозначенная беспринципная газета открыто и нагло продает Россию Финляндии, получая за это от финляндцев большие деньги.

Совсем недавно беспощадный ослепительный прожектор «Русского знамени» перешел с газет на частных лиц, попал на меня, осветил все мои дела и поступки и обнаружил, что я, в качестве еврействующего журналиста, тоже подкуплен – и продаю свою отчизну оптом и в розницу, систематически ведя ее к распаду и гибели.

Узнав, что маска с меня сорвана, я сначала хотел было увернуться, скрыть свое участие в этом деле, замаскировать как-нибудь те факты, которые вопиюще громко кричат против меня, но ведь все равно: рано или поздно все выплывет

наружу, и для меня это будет еще тяжелее, еще позорнее.

Лучше же я расскажу все сам.

Добровольное признание – это все, что может если не спасти меня, то, хотя частью, облегчить мою вину...

Дело было так.

II

Однажды служанка сообщила мне, что меня хотят видеть два господина по очень важному делу.

– Кто же они такие? – любопытствовал я.

– Будто иностранцы. Один как будто из чухонцев, такой белесый, а другой маленький, косой, черный. Не иначе – японец.

Два господина вошли и, подозрительно оглядев комнату, поздоровались со мной.

– Чем могу служить?

– Я – прикомандированный к японскому посольству маркиз Оцупа.

– А я, – сказал блондин, небрежно играя финским ножом, – уполномоченный от финляндской революционной партии «Войма». Моя фамилия Муляйнен.

– Я вас слушаю, – кивнул я головой.

Маркиз толкнул своего соседа локтем, нагнулся ко мне и, пронзительно глядя мне в глаза, прошептал:

– Скажите... Вы не согласились бы продать нам Россию?

Мой отец был купцом, и у меня на всю жизнь осталась от него наследственная коммерческая жилка.

– Это смотря как... – прищурился я. – Продать можно. Отчего не продать?.. Только какая ваша цена будет?

– Цену мы дадим вам хорошую, – отвечал маркиз Оцупа. – Не обидим. Только уж и вы не запрашивайте.

– Запрашивать я не буду, – хладнокровно пожал я плечами. – Но ведь нужно же понимать и то, что я вам продаю. Согласитесь сами, что это не мешок картофеля, а целая громадная страна. И притом – нужно добавить – горячо мною любимая.

– Ну, уж и страна!.. – иронически усмехнулся Муляйнен.

– Да-с! Страна! – горячо вскричал я. – Побольше вашей, во всяком случае... Свыше пятидесяти губерний, две столицы, реки какие! Железные дороги! Громадное народонаселение, занимающееся хлебопашеством! Пойдите-ка, поищите в другом месте.

– Так-то так, – обменявшись взглядом с Муляйненом, возразил японец, – да ведь страна-то разорена... сплошное нищенство...

– Как хотите, – холодно проворчал я. – Не нравится – не берите!

– Нет, мы бы взяли, все-таки... Нам она нужна. Вы назовите вашу цену.

Я взял карандаш, придвинул бумагу и стал долго и тщательно высчитывать. Потом поднял от бумаги голову и ре-

шитительно сказал:

– Десять миллионов.

Оба вскочили и в один голос воскликнули:

– Десять миллионов?!

– Да.

– За Россию?!

– Да.

– Десять миллионов рублей?!

– Да. Именно рублей. Не пфенингов, не франков, а рублей.

– Это сумасшедшая цена.

– Сами вы сумасшедшие! – сердито закричал я. – Этакая страна за десять миллионов – это почти даром. За эти деньги вы имеете чуть не десяток морей, уйму рек, пути сообщения... Не забывайте, что за эту же цену вы получаете и Сибирь – эту громадную богатейшую страну!

Маркиз Оцуа слушал меня, призадумавшись.

– Хотите пять миллионов?

– Пять миллионов? – рассмеялся я. – Вы бы мне еще пять рублей предложили! Впрочем, если хотите, я вам за пять рублей отдам другую Россию, только поплоше. В кавычках.

– Нет, – покачал головой Муляйнен. – Эту и за пять копеек не надо. Вот что... хотите семь миллионов – ни копейки больше!

– Очень даже странно, что вы торгуетесь, – обидчиво пожегся я. – Покупают то, что самое дорогое для истинного

патриота, да еще торгуются!

– Как угодно, – сказал Муляйнен, вставая. – Пойдем, Оцу-па.

– Куда же вы? – закричал я. – Постойте. Я вам, так и быть, миллион сброшу. Да и то не следовало бы – уж очень страна-то хорошая. Я бы всегда на эту цену покупателя нашел... Но для первого знакомства – извольте – миллион сброшу.

– Три сбросьте!

– Держите руку, – сказал я, хлопая по протянутой руке. – Последнее слово, два сбрасываю! За восемь. Идет?

Японец придержал мою руку и сосредоточенно спросил:

– С Польшей и Кавказом?

– С Польшей и Кавказом!

– Покупаем.

Сердце мое отчего-то пребольно сжалось.

– Продано! – вскричал я, искусственным оживлением стараясь замаскировать тяжелое чувство. – Забирайте.

– Как... забирайте? – недоумевающе покосился на меня Оцупа. – Что значит забирайте? Мы платим вам деньги, главным образом, за то, чтобы вы своими фельетонами погубили Россию.

– Да для чего вам это нужно? – удивился я.

– Это уж не ваше дело. Нужно – и нужно. Так – погубите?

– Хорошо, погублю.

III

На другой день, поздно вечером, к моему дому подъехало несколько подвод, и ломовики, кряхтя, стали таскать в квартиру тяжелые, битком набитые мешки.

Служанка моя присматривала за ними, записывая количество привезенных мешков с золотом и изредка уличая ломовика в том, что он потихоньку пытался засунуть в карман сто или двести тысяч; а я сидел за письменным столом и, быстро строча фельетон, добросовестно губил проданную мною родину...

* * *

Теперь – когда я окончил свою искреннюю тяжелую исповедь – у меня легче на сердце. Пусть я бессердечный торгаш, пусть я Иуда-предатель, продавший свою родину... Но ведь – ха-ха! – восемь-то миллиончиков – ха-ха! – которые у меня в кармане, – не шутка.

И теперь, в ночной тиши, когда я просыпаюсь, терзаемый странными видениями, передо мной встает и меня пугает только один страшный, кошмарный вопрос:

Не продешевил ли я?!

Бедствие

«Неожиданный урожай тек... года поставил в большое затруднение – как м-во путей сообщения, так и сельских хозяев, принужденных продавать хлеб почти даром».

«Торгово-промышл. газета».

I

Перед директором департамента стоял чиновник и смущенно докладывал:

– Мы получили самые верные сведения... Сомнений больше нет никаких! Так и лезут из земли.

– Что ж это они так... Недоглядели, что ли?

– Да что ж тут доглядывать, ваше пр-во. Дело божье!

– Конечно, божье... Но ведь и пословица говорит: на бога надейся, а сам не плошай. А вы говорите – лезут?! Что же лезет больше?

– Многое лезет, ваше пр-во... Рожь, пшеница...

– Но я не понимаю... Теперь, когда агрономическая культура сделала такие шаги, неужели нельзя принять какие-нибудь меры?

– Какие меры, ваше пр-во?

– Чтоб они не лезли, эти самые пшеницы, ржи и прочее.

– Тут уж ничего не поделаешь. Раз полезло из земли – с

ним не справишься. Зерно маленькое-маленькое, а силища в нем громадная! Нет уж, видно, судьба такая, чтобы быть урожаю!

– Ну, а мужики что?

– Да что ж мужики – плачут. Сколько лет уже, говорят, не было этих самых урожаев, а тут – разгневался господь – послал.

Директор осмотрел уныло свои ногти и вздохнул:

– Мужиков жаль!

– Да-с. Сюрпризец! Вот уж правду говорят: многострадальный русский народ.

– Э?

– Многострадальный, говорю. И они многострадальные, и мы... Нам-то еще хуже, ваше пр-во! Как начнут это вагоны требовать, пробки разные устраивать, в газетах нас ругать – чистейшей воды драма.

– А может... еще и недород будет?

– Нет ни малейшей надежды. Я наводил справки. В один голос все – урожай!

– Опять эта кутерьма пойдет: бесплатные столовые, общеземские организации на местах, пострадавших от урожая, крестьянское разорение. Эх ты, русский народ!

В голосе директора послышались лирические нотки.

– Эх ты, русский народ! Кто тебя выдумал, как говорит незабвенный Гоголь... До того ты темен и дик, что от простого урожая отвертеться не можешь.

– Трудно отвертеться, ваше пр-во. Лезет.

– Кто лезет?

– Все, что в земле есть. Поверите – в некоторых местах опасаются, что и фрукты могут дать урожай!!

– Что вы говорите! Эх, хорошо говорил покойный Гоголь. урожай, кто тебя выдумал?

II

Мужик Савельев стоял у межи своего поля и ругался:

– Ишь ты! Ишь ты, подлая! Так и прет! У людей как у людей – или градом побьет и скот вытопчет, а у нас – хучь ты ее сам лаптем приколачивай!

– Что ты, кум, ворчишь? – спросил, подойдя к Савельеву, мужик Парфен Парфенов.

– Да что, брат дядя, рожь у меня из земли лезет. И недоглядишь, как урожай будет.

– Ну? – сказал Парфен Парфенов. – Влопаешься ты, кум!

– И то! Сколько лет по-хорошему было: и о прошлом годе – недород, и о позапрошлом – недород, а тут – накося! Урожай. Пойтить в кусочки потом и больше никаких апельцинов!

– А во, брат, тучка оттеда идет. Помочить может, – на корню она, подлая, подгниет. Все лучше, чем потом по двугривенному за пуд расторговываться.

Глаза Савелия Савельева загорелись надеждой.

– Где? Где туча?..

– Во. Гляди, может, градом осыплется.

– Вашими бы устами, Парфен Лукич, – сказал повеселевший Савельев, – да мед пить!

Здрав рыжие бороды кверху, долго стояли кумовья и следили за ползущей тучей.

III

Газета «Голос мудрости» писала в передовой статье:

«Мы давно призывали общество к более тесному единению и борьбе со страшным бичом русского крестьянина – урожаем! Что мы видим: в нормальное, спокойное время, когда ряд недородов усыпляет общественное внимание, все забывают, что коварный враг не спит и в это же самое время, может быть, продирает ростками землю, чтобы выбиться наружу зловещими длинными колосьями, словно рядом бичей, угрожающих нашему сельскому хозяйству. А потом ахают и охают, беспомощно мечась перед призраком бедствия:

– Ах, урожай! Ох, урожай!..

И нищает сельское хозяйство, и забиваются железные дороги пробками, тормозя нормальное развитие отечественной промышленности. Сельские хозяева! Помните: враг не дремлет!»

IV

По улице большого города шел прохожий.

Истомленные оборванные люди, держа на руках двух ребят, подошли к нему и зашептали голодными голосами:

– Господин! Помогите пострадавшим от урожая!

– Неужели вы пострадавшие? Может, вы только симулируете пострадавших от урожая? – спросил сердобольный прохожий.

– Де там! Хворменный был урожай!

– И много у вас уродилось?

– Сам-двадцать!

– Несчастные! – ахнул прохожий. – Нате вам три рубля. Может, поправитесь.

Люди

Иван Васильевич Сицилистов приподнялся на одном локте и прислушался...

– Это к нам, – сказал он задремавшей уже жене. – Наконец-то!

– Пойди, открой им. Намокши на дожде, тоже не очень приятно стоять на лестнице.

Сицилистов вскочил и, полуодетый, быстро зашагал в переднюю.

Открыв дверь, он выглянул на лестницу. Лицо его расплылось в широкую, радостную улыбку.

– Ба, ба!! А я-то – позавчера ждал, вчера... Рад. Очень рад! Милости прошу к нашему шалашу.

Вошедший впереди всех жандармский офицер зажмурился от света. Лицо его выражало самое искреннее недоумение.

– Пардон!.. Но вы, вероятно... не поняли. Мы к вам с обыском!

Хозяин залился смехом так, что закашлялся.

– Оригиналы... открыл Америку! Ведь не буду же я думать, что вы пришли со мной в преферанс перекинуться.

Он весело захлопотал около пришедших.

– Позвольте пальтецо... Вам трудно снять. Ишь, как оно намокло! Теперь я вам посвечу... Осторожнее: тут порог.

Жандармский офицер и пристав недоумевающе переглянулись, и первый, потоптавшись, сказал нерешительно:

– Разрешите приступить. Вот предписание.

– Ни-ни-ни! И думать не можете! Из-под дождя, с измокшими ногами прямо за дело – этак нетрудно и насморк схватить... А вот мы сейчас застрахуемся! А предписание ваше можете бабушке подарить: неужели порядочный человек не может верить порядочному человеку без предписания? Присядьте, господа! Виноват, ваше имя, отчество?

Офицер пожал плечами, отнесся этот жест к улыбавшемуся уже в усы приставу, и сказал, стараясь придать своим словам леденящий тон:

– Будучи официально уполномочен для производства обыска...

Хозяин замахал на него руками:

– Знаю, знаю!! Ах ты, господи... Ну неужели обыск от вас уйдет? Разве же я не понимаю! Сам помогу! Но почему нам чуждаться хороших человеческих отношений?.. не правда ли, Никодим Иванович, кажется?! да? хе-хе! Узнал-с, узнал-с!! И никогда не догадаетесь – откуда?! На донышке фуражки вашей в передней прочел!! Ха-ха-ха!! Так вот... Лизочка! (Это моя жена... Превосходнейшая женщина!.. Я вас познакомлю.) Лизочка, дай нам чего-нибудь, – господам офицерам с дождя погреться!.. Ни-ни! Откажетесь – безумно меня обидите!!

Из соседней комнаты вышла прехорошенькая молодая женщина. Приводя мимоходом в порядок пышные волосы, она улыбнулась и сказала, щуря заспанные еще глазки:

– Отказать мужчине вы еще могли, но даме – фи! Это будет не по-джентльменски!

Муж представил:

– Моя жена Елизавета Григорьевна – Никодим Иваныч! Господин пристав... виноват, не имею чести...

Пристав так растерялся при виде вошедшей красавицы, что вскочил и, щелкнув каблуками, преувеличенно громко отрекомендовался:

– Крутилов, Валериан Петрович!

– Да что вы?! Очень рада. У меня сына одного Валея зо-

вут. Лукерья!

Явившейся кухарке она приказала:

– Проведи понятых и городских пока на кухню! Разогрей пирог, достань колбасы, огурцов... Водки там, кажется, есть с полчетверти... Одним словом, займись ими... А я похлопочу насчет их благородий!

Улыбнувшись смотревшему на нее во все глаза приставу, она выпорхнула.

Жандармский офицер, ошеломленный, открыл рот и начал:

– Извините, но...

За дверью слышался шум, возня, детские голоса, и в комнату ворвались два ликующих сорванца лет пяти–шести.

– Обыск, обыск! У нас обыск! – подпевали они в такт прыжкам таким тоном, будто радовались принесенному пирожному.

Один, топая босыми ножонками, подбежал к офицеру и ухватил его за палец:

– Здравствуй! Покатай меня на ноге, так: гоп, гоп!

Отец сокрушенно покачал головой:

– Ах вы, экспроприаторы этикие! Вы уж извините их... Это их в Одессе у меня разбаловали. Обыски у меня бывали чуть не два раза в неделю... ну, для них и не было лучшего удовольствия. Подружились со всеми... Верите – шоколад стали им носить, игрушки...

Видя, что мальчик тянется губками к его рыжим длинным

усам, жандармский офицер нагнулся и поцеловал его.

Другой сидел верхом на колене пристава и, рассматривая погоны, деловым тоном спрашивал:

– Сколько у тебя звездочек? А сабля – вынимается? Я в Одессе сам вынимал – ей-богу!

Вошедшая с подносом, на котором стояли разноцветные бутылки и закуски, мать искусственно-строго заметила:

– Сколько раз я тебе говорила, что божиться – дурная привычка! Он надоедает вам – спустите его на пол.

– Ничего-с... Помилуйте! Тебя как зовут, крыса, а?

– Митей. А тебя?

Пристав рассмеялся:

– Вaley. Будем знакомы.

Мать, улыбаясь гостям, наливала в рюмки коньяк и, подвигая офицеру икру, говорила:

– Милости прошу. Согрейтесь! Нам так совестно, что из-за нас вы обеспокоили себя в эту дурную погоду.

– Валя! Дай мне икры, – потребовал Митя, царапая пальцем пуговицу на сюртуке пристава.

Через час жандармский офицер, подперев кулаком щеку, курил предложенную ему хозяином сигару и слушал.

– Разногласие с меньшевиками, – объяснял хозяин, – происходит у нас, главным образом, из-за тактических вопросов... Затем, наше отношение к террору...

Покачивая на руках уснувшего ребенка и стараясь не шу-

мать, пристав пытался сесть так, чтоб спящего не раздражал свет лампы.

Городовой Харлампов муслил толстый палец и потом, хлопая картой по столу, говорил:

– А вот мы вашего короля прихлопнем! Теперича дворник – принц, а вы, Лукерья Абрамовна, – королевой будете. Вроде как бы английская Виктория. Хе-хе!

Лукерья застенчиво улыбалась, наливая пиво в пустые стаканы.

– Тоже ведь придумает эдакое... Уж сказано про вас – бюрократический режим.

Робинзоны

Когда корабль тонул, спаслись только двое:

Павел Нарымский – интеллигент.

Пров Иванович Акациев – бывший шпик...

Раздевшись догола, оба спрыгнули с тонувшего корабля и быстро заработали руками по направлению к далекому берегу.

Пров доплыл первым. Он вылез на скалистый берег, дождал Нарымского и, когда тот, задыхаясь, стал вскарабкиваться по мокрым камням, строго спросил его:

– Ваш паспорт!

Голый Нарымский развел мокрыми руками:

– Нету паспорта. Потонул.

Акациев нахмурился:

– В таком случае я буду принужден...

Нарымский ехидно улыбнулся.

– Ага... Некуда!

Пров зачесал затылок, застонал от тоски и бессилия и потом молча, голый и грустный, побрел в глубь острова.

Понемногу Нарымский стал устраиваться. Собрал на берегу выброшенные бурей обломки и некоторые вещи с корабля и стал устраивать из обломков – дом.

Пров сумрачно следил за ним, прячась за соседним уте-сом и потирая голые худые руки. Увидев, что Нарымский уже возводит деревянные стены, Акациев, крадучись, приблизился к нему и громко закричал:

– Ага! Попался! Вы это что делаете?

Нарымский улыбнулся:

– Предварилку строю.

– Нет, нет... Это вы дом строите! Хорошо-с!.. А вы строительный устав знаете?

– Ничего я не знаю.

– А разрешение строительной комиссии в рассуждении пожара у вас имеется?

– Отстанете вы от меня?..

– Нет-с, не отстану. Я вам запрещаю возводить эту постройку без разрешения.

Нарымский, уже не обращая на Прова внимания, усмехнулся и стал прилаживать дверь.

Акациев тяжело вздохнул, постоял и потом тихо поплелся в глубь острова.

Выстроив дом, Нарымский стал устраиваться в нем как можно удобнее. На берегу он нашел ящик с книгами, ружье и бочонок солонины.

Однажды, когда Нарымскому надоела вечная солонина, он взял ружье и углубился в девственный лес с целью настрелять дичи.

Все время сзади себя он чувствовал молчаливую, бесшумно перебегавшую от дерева к дереву фигуру, прячущуюся за толстыми стволами, но не обращал на это никакого внимания. Увидев пробегавшую козу, приложился и выстрелил.

Из-за дерева выскочил Пров, схватил Нарымского за руку и закричал:

– Ага! Попался... Вы имеете разрешение на право ношения оружия?

Обдирая убитую козу, Нарымский досадливо пожал плечами:

– Чего вы пристаёте? Занимались бы лучше своими делами.

– Да я и занимаюсь своими делами, – обиженно возразил Акациев. – Потрудитесь сдать мне оружие под расписку на хранение, впредь до разбора дела.

– Так я вам отдал! Ружье-то я нашел, а не вы!

– За находку вы имеете право лишь на одну треть... – начал было Пров, но почувствовал всю нелепость этих слов, оборвал и сердито закончил: – Вы еще не имеете права охотиться!

– Почему это?

– Еще Петрова дня не было! Закону не знаете, что ли?

– А у вас календарь есть? – ехидно спросил Нарымский.

Пров подумал, переступил с ноги на ногу и сурово сказал:

– В таком случае я арестую вас за нарушение выстрелами тишины и спокойствия.

– Арестуйте! Вам придется дать мне помещение, кормить, ухаживать за мной и водить на прогулки!

Акациев заморгал глазами, передернул плечами и скрылся между деревьями.

Возвращался Нарымский другой дорогой.

Переходя по сваленному бурей стволу дерева маленькую речку, он увидел на другом берегу столбик с какой-то надписью.

Приблизившись, прочел: «Езда по мосту шагом».

Пожав плечами, наклонился, чтоб утолить чистой, прозрачной водой жажду, и на прибрежном камне прочел надпись:

«Не пейте сырой воды! За нарушение сего постановления виновные подвергаются...»

Заснув после сытного ужина на своей теплой постели из

сухих листьев, Нарымский среди ночи услышал вдруг какой-то стук и, отворив дверь, увидел перед собою мрачного и решительного Прова Акациева.

– Что вам угодно?

– Потрудитесь впустить меня для производства обыска. На основании агентурных сведений...

– А предписание вы имеете? – лукаво спросил Нарымский.

Акациев тяжело застонал, схватился за голову и с криком тоски и печали бросился вон из комнаты.

Часа через два, перед рассветом, стучался в окно и кричал:

– Имейте в виду, что я видел у вас книги. Если они предосудительного содержания и вы не заявили о хранении их начальству – виновные подвергаются...

Нарымский сладко спал.

Однажды, купаясь в теплом, дремавшем от зноя море, Нарымский отплыл так далеко, что ослабел и стал тонуть.

Чувствуя в ногах предательские судороги, он собрал последние силы и инстинктивно закричал. В ту же минуту он увидел, как вечно торчавшая за утесом и следившая за Нарымским фигура поспешно выскочила и, бросившись в море, быстро поплыла к утопающему.

Нарымский очнулся на песчаном берегу. Голова его лежала на коленях Прова Акациева, который заботливой рукой

растирал грудь и руки утопленника.

– Вы... живы? – с тревогой спросил Пров, наклоняясь к нему.

– Жив. – Теплое чувство благодарности и жалости шевельнулось в душе Нарымского. – Скажите... Вот вы рисковали из-за меня жизнью... Спасли меня... Вероятно, я все-таки дорог вам, а?

Пров Акациев вздохнул, обвел ввалившимися глазами беспредельный морской горизонт, охваченный пламенем красного заката, – и, просто, без рисовки, ответил:

– Конечно, дороги. По возвращении в Россию вам придется заплатить около ста десяти тысяч штрафов или сидеть около полутора лет.

И, помолчав, добавил искренним тоном:

– Дай вам бог здоровья, долголетия и богатства.

Спермин

Это была самая скучная, самая тоскливая сессия Думы.

Вначале еще попадались некоторые неугомонные читатели газет, которые после долгого сладкого зевка обращивались к соседу по месту в трамвае и спрашивали:

– Ну, как Дума?

А потом и эти закоренелые политики как-то вывелись...

Голодным, оборванным газетчикам приходилось долго и упорно бежать за прохожим, заскакивая вперед, растопыри-

вая руки и с мольбой в голосе крича:

– Интересная газета!! Бурное заседание Государственной думы!!

– Врешь ты все, брат, – брезгливо говорил прохожий. – Ну, какое там еще бурное?..

– Купите, ваше сиятельство!

– Знаем мы эти штуки!..

Отодвинув рукой ослабевшего от голода, истомленного нуждой газетчика, прохожий шагал дальше, а газетчик в слепой, предсмертной тоске метался по улице, подкатывался под извозчиков и, хрипло стелая, кричал:

– Интересная газета! На Малой Охте чухонка любовника топором зарубила!! Купите, сделайте милость!

И жалко их было, и досадно.

* * *

Неожиданно среди общего сна и скуки, как удар грома, грянул небывалый скандал в Думе.

Скандал был дикий, нелепый, ни на чем не основанный, но все ожило, зашевелилось, заговорило, как будто вспрыснутое живительным летним дождем.

Негодованию газет не было предела:

«После долгой спячки и пережевывания никому не нужной вермишели Дума наконец проснулась довольно своеобразно и самобытно: правый депутат Карнаухий закатил та-

кой скандал, подобного которому еще не бывало... Встреченный во время произнесения своей возмутительной речи с трибуны общим шиканьем и протестами, Карнаухий выругался непечатными словами, снял с ноги сапог и запустил им в председательствующего... Когда к нему бросились депутаты, он выругал всех хамами и дохлыми верблюдами, и потом, схватив стул, разбил голову депутату Рыбешкину. Когда же наконец прекратятся эти возмутительные бесчинства черносотенной своры?! Исключение наглого хулигана всего на пять заседаний должно подлить лишь масла в огонь, т.к. ободрит других и подвигнет на подобные же бесчинства! Самая лучшая мера воздействия на подобных господ – суд и лишение депутатского звания!»

Газетчики уже не бегали, стеною, за прохожими. Голодное выражение сверкавших глаз сменилось сытым, благодушным...

* * *

Издателю большой ежедневной газеты Хваткину доложили, что к нему явился депутат Карнаухий и требует личного с ним свидания.

– Какой Карнаухий? Что ему надо? – поморщился издатель. – Ну, черт с ним, проси.

Рассыльный ушел. Дверь скрипнула, и в кабинет, озираясь, тихо вошел депутат Карнаухий.

Он подошел к столу, придвинув к себе стул, сел лицом к лицу с издателем и, прищурившись, молча стал смотреть в издательское лицо.

Издатель подпер голову руками, облокотился на стол и тоже долго, будто любуясь, смотрел в красное широкое лицо своего гостя.

– Ха-ха-ха! – раскатился издатель неожиданным хохотом.

– Хо-хо-хо! – затрясся всем своим грузным телом Карнаухий.

– Хи-хи-хи!

– Го-го-го!

– Хе!

– Гы!

– Да и ловкач же ты, Карнаухий!

Сквозь душивший его хохот Карнаухий скромно заявил:

– Чего ж ловкач... Как условлено, так и сделано. Доне муа того кельк-шозу, который в той железной щикатулке лежит!

Издатель улыбнулся.

– Как условлено?

– А то ж!

Издатель встал, открыл шкафчик, вынул несколько кредиток и, осмотревшись, сунул их в руку Карнаухому.

– Эге! Да тут четвертной не хватает!

– А ты министрам кулак показывал, как я просил? Нет? То-то и оно, брат. Ежели бы показал, так я, тово... Я честный – получай полностью! А раз не показал – согласись сам, брат

Карнаухий...

– Да их никого и не было в ложе.

– Ну, что ж делать – значит, мое такое счастье!

Карнаухий крикнул, покачал укоризненно головой, сунул деньги в карман и взялся за шапку.

– Постой, брат, – остановил его издатель, потирая лоб. – Ты ведь, тово... Исключен на пять заседаний? Это хорошо, брат... Так и нужно. Пока ты забудешься. А там я б тебе еще работку дал. Скажи... не мог бы ты какого-нибудь октябриста на дуэль вызвать?

– Так я его лучше просто отдую, – добродушно сказал Карнаухий.

– Ну, вот... Придумал тоже! Дуэль – это дело благородное, а то – черт знает что – драка.

Карнаухий пощелкал пальцами, почесал темя и согласился:

– Что ж, можно и дуэль. На дуэль своя цена будет. Сами знаете...

– Не обижу. Только ты какой-нибудь благовидный предлог придумай... Подойди, например, к нему и привяжись: «Ты чего мне вчера на пиджак плюнул? Дрянь ты октябристская!» Можешь толкнуть его даже.

– А ежели он не обидится?

– Ну, как не обидится. Обидится. А потом, значит, ты сделай так...

Долго в кабинете слышался шепот издателя и гудящий бас Карнаухова.

Провожая его, издатель сделал страшное лицо и сказал:

– Только ради Создателя – чтобы ни редактор, ни сотрудники ничего не знали... Они меня съедят.

– Эге!

Когда Карнаухий вышел на улицу, к нему подскочил веселый, сытый газетчик и крикнул:

– Грандиозный скандал! Исключение депутата Карнаухова на пять заседаний!!

Карнаухий улыбнулся и добродушно проворчал:

– Тоже кормитесь, черти?!

Господин Цацкин

Мое первое с ним знакомство произошло после того, как он, вылетев из окна второго этажа, пролетел мимо окна первого этажа, где я в это время жил, и упал на мостовую.

Я выглянул из своего окна и участливо спросил неизвестного, потиравшего ушибленную спину:

– Не могу ли я быть вам чем-нибудь полезным?

– Почему же не можете? – добродушно кивнул он головой, в то же время укоризненно погрозив пальцем по направле-

нию окна второго этажа. — Конечно же, можете.

— Зайдите ко мне в таком случае! — сказал я, отходя от окна.

Он вошел веселый, улыбающийся. Протянул мне руку и сказал:

— Цацкин.

— Очень рад. Не ушиблись ли вы?

— Чтобы сказать вам да — так нет. Чистейшей воды пустяки.

— Наверное, из-за какой-нибудь хорошенькой женщины? — сказал я, подмигивая. — Хи-хи!

— Хе-хе! А вы, вероятно, любитель этих сюжетцев? Хе-хе! Не желаете ли, могу предложить серию любопытных открыточек? Немецкий жанр. Понимающие люди считают его выше французского.

— Нет, зачем же? — удивленно сказал я, всматриваясь в него. — Послушайте, ваше лицо кажется мне знакомым. Это не вас ли вчера какой-то господин толкнул с трамвая?

— Ничего подобного. Это было третьего дня. А вчера меня спустили с черной лестницы по вашей же улице. Но, правду сказать, какая это лестница? Какие-то семь паршивых ступенек.

Заметив мой недоумевающий взгляд, господин Цацкин потупился и укоризненно сказал:

— Все это за то, что я хочу застраховать им жизнь. Хороший народ: я хлопочу об их жизни, а они суетятся о моей

смерти.

– Так вы агент по страхованию жизни! – сухо заметил я. – Чем же я могу быть вам полезным?

– Вы мне можете быть полезны одним малюсеньким ответиком на вопросик: как вы хотите у нас застраховаться? На дожитие или с уплатой премии вашим близким после, – дай вам бог здоровья, – вашей смерти?

– Никак я не хочу страховаться, – замотал я головой. – Ни на дожитие, ни на что другое. А близких у меня нет. Я одинок.

– А супруга?

– Я холост.

– Так вам нужно жениться. Очень просто! Могу вам предложить девушку: пальчики оближете. Двенадцать тысяч приданого, отец две лавки имеет. Хотя брат шарлатан, но она такая брюнетка, что даже удивительно. Вы завтра свободны? Можно завтра же и поехать посмотреть. Сюртук, белый жилет... Если нет – можно купить готовые. Адрес: магазин «Оборот», наша фирма...

– Господин Цацкин! – возразил я. – Ей же богу, я не хочу и не могу жениться! Я вовсе не создан для семейной жизни.

– Ой, не созданы! Почему? Может, вы до этого очень шумно жили? Так вы не бойтесь. Это сущий, поправимый пустяк. Могу предложить вам средство, которое несет собой радость каждому меланхоличному мужчине: шесть тысяч книг бесплатно. Имеет массу благодарностей. Пробный

флакончик...

– Оставьте ваши пробные флакончики при себе! – раздражительно сказал я. – Мне их не надо. Не такая у меня наружность, чтобы внушать к себе любовь. На голове порядочная лысина, уши оттопырены, морщины, маленький рост...

– Что такое лысина? Если вы ее помажете средством, которого я состою представителем, так обрастете волосами так, как, извините, кокосовый орех, а морщины, а уши... Возьмите наш усовершенствованный аппарат, который можно надевать ночью... Всякие уши как рукой снимет. Рост... Наш гимнастический прибор через шесть месяцев увеличивает рост на два вершка. Через два года вы уже можете будете жениться, а через пять лет вас уже можно будет показывать. А вы мне говорите: рост!

– Ничего мне не нужно, – сказал я, сжимая виски. – Простите, но вы мне действуете на нервы.

– На нервы! Так он молчал... Патентованные холодные души, могущие складываться и раскладываться. Есть с крапом, есть с разбрызгивателем. Вы – человек интеллигентный и очень мне симпатичный... Поэтому могу посоветовать взять лучше разбрызгиватель... но...

Я схватился за голову.

– Чего вы хватаетесь? Голова болит? Вы только скажите, сколько вам надо тюбиков нашей пасты «Мигренин»? Фирма уже сама доставит вам на дом.

– Извините, – сказал я, закусывая губу, – но прошу вас

оставить меня. Мне некогда. Я очень устал, а мне предстоит еще утомительная работа: писать статью...

– Утомительная? – сочувственно спросил господин Цацкин. – Я вам скажу, что она утомительная потому, что вы до сих пор не приобрели нашего раздвижного пюпитра для чтения и письма. Нормальное положение, удобный наклон... За две штуки 7 рублей, а за три – 10...

– Пошел вон! – закричал я, дрожа от бешенства. – Или я проломлю голову тебе этим пресс-папье!

– Этим пресс-папье! – презрительно сказал господин Цацкин, ощупывая пресс-папье на моем письменном столе. – Этим пресс-папье... Вы на него дуньте, оно улетит! Нет, если вы хотите иметь настоящее, тяжелое пресс-папье, так я могу вам предложить целый прибор из малахита.

Я нажал кнопку электрического звонка.

– Вот сейчас придет человек, – прикажу ему вывести вас.

Скромно склонив голову, господин Цацкин сидел и молчал, будто ожидая исполнения моего приказания.

Прошло две минуты. Я позвонил еще.

– Хороши звонки, нечего сказать! – покачал головой господин Цацкин. – Разве можно такие безобразные звонки иметь, которые не звонят? Позвольте вам предложить звонки с установкой и элементами за 7 рублей 60 копеек. Изящная кнопка...

Я вскочил, схватил господина Цацкина за рукав и потащил к двери:

– Идите, или у меня сейчас будет разрыв сердца!..

– Это не дай бог, но вы не беспокойтесь! Мы вас довольно прилично похороним по второму разряду. Правда, не будет той пышности, как первый, но катафалк...

Я захлопнул за господином Цацкиным дверь, повернул в замке ключ и вернулся к столу.

Через минуту я обратил внимание, что дверная ручка зашевелилась и дверь вздрогнула от осторожного напора и распахнулась.

Господин Цацкин робко вошел в комнату и, прищурясь, сказал:

– В крайнем случае, могу вам доложить, что ваши дверные замки никуда не годятся... Они отворяются от простого нажима. Хорошие английские замки вы можете иметь через меня: один прибор 2 рубля 40 копеек, а пять штук...

Я вынул из ящика письменного стола револьвер и, заскрежетав зубами, закричал:

– Сейчас я буду стрелять в вас!

Господин Цацкин с довольной миной улыбнулся и сказал:

– Я буду очень рад, так как это даст вам возможность убедиться в превосходном качестве панциря от пуль, который надет на мне для образца и который могу вам предложить. Одна штука 18 рублей, две – дешевле, а три – еще дешевле. Прошу вас убедиться!

Я отложил револьвер и, схватив господина Цацкина поперек туловища, с бешеным ревом выбросил в окно.

Падая, он успел крикнуть мне:

– У вас очень непрактичные запонки. Острые углы, рвущие платье и оцарапавшие мне щеку. Могу предложить африканского золота с инкрустацией. Пара – 2 рубля, три – че...

Я захлопнул окно.

«Аполлон»

Однажды в витрине книжного магазина я увидел книгу... По наружному виду она походила на солидный, серьезный каталог технической конторы, что меня и соблазнило, так как я очень интересуюсь новинками в области техники.

А когда мне ее показали ближе, я увидел, что это не каталог, а литературный ежемесячный журнал.

– Как же он... называется? – растерянно спросил я.

– Да ведь заглавие-то на обложке!

Я внимательно всмотрелся в заглавие, перевернул книгу боком, потом вниз головой и, заинтересованный, сказал:

– Не знаю! Может быть, вы будете так любезны посвятить меня в заглавие, если, конечно, оно вам известно?.. Со своей стороны, могу дать вам слово, что, если то, что вы мне сообщите, секрет, – я буду свято хранить его.

– Здесь нет секрета, – сказал приказчик. – Журнал называется «Аполлон», а если буквы греческие, то это ничего... Следующий номер вам дастся гораздо легче, третий еще лег-

че, а дальше все пойдет как по маслу.

– Почему же журнал называется «Аполлон», а на рисунке изображена пронзенная стрелами ящерица?..

Приказчик призадумался.

– Аполлон – бог красоты и света, а ящерица – символ чего-то скользкого, противного... Вот она, очевидно, и пронзена богом света.

Мне понравилась эта замысловатость.

Когда я издам книгу своих рассказов под названием «Скрежет», то на обложке попрошу нарисовать барышню, входящую в здание зубоврачебных курсов...

Заинтересованный диковинным «Аполлоном», я купил журнал и ушел.

* * *

Первая статья, которую я начал читать, – Иннокентия Анненского, – называлась «О современном лиризме».

Первая фраза была такая:

«Жасминовые тирсы наших первых мэнад примахались быстро...»

Мне отчасти до боли сделалось жаль наш бестолковый русский народ, а отчасти было досадно: ничего нельзя поручить русскому человеку... Дали ему в руки жасминовый тирс, а он обрадовался и ну – махать им, пока примахал этот инструмент окончательно.

Фраза, случайно выхваченная мною из середины «лиризма», тоже не развеселила меня:

«В русской поэзии носятся частицы теософического кокса, этого буржуазнейшего из Антисмертинов...»

Это было до боли обидно.

Я так расстроился, что дальше даже не мог читать статьи «О современном лиризме»...

* * *

Неприятное чувство сгладила другая статья: «В ожидании гимна Аполлону».

Я человек очень жизнерадостный, и веселье бьет во мне ключом, так что мне совершенно по вкусу пришлось предложение автора:

«Так как танец есть прекраснейшее явление в жизни, то нужно сплетаться всем людям в хороводы и танцевать. Люди должны сделаться прекрасными, непрестанно во всех своих действиях, и танец будет законом жизни».

Последующие слова автора относительно зажжения алтарей, учреждения обетных шествий и плясов привели меня в решительный восторг.

«Действительно! – думал я. – Как мы живем... Ни тебе удовольствия, ни тебе веселья. Все ползают на земле, как умирающие черви, уныние сковывает костенеющие члены... Нет, решительно, обетные шествия и плясы – вот то, что вы-

ведет нас на новую дорогу».

Дальше автор говорил:

«Не случайно происходит за последние годы повышение интереса к танцу...»

«Вот оно! – подумал я. – Начинается!»

У меня захватило дыхание от предвкушения близкого веселья, и я должен был сделать усилие, чтобы заставить себя перейти к следующей статье:

«О театре».

* * *

Автор статьи о театре видел единственное спасение и возрождение театра в том, чтобы публика участвовала в действии наравне с актерами.

Идея мне понравилась, но многое показалось неясным: будет ли публика на жалованье у дирекции театра или актеры будут уравнены с публикой в правах тем, что им придется приобретать в кассе билеты «на право игры»... И как отнесутся актеры к той ленивой, инертной части публики, которая предпочтет участию в игре – простое глаzenie на все происходящее?..

Впрочем, я вполне согласен с автором, что важна идея, а детали можно разработать после.

Вечером я поехал к одним знакомым и застал у них гостей.

Все сидели в гостиной небольшими группами и вели разговор о бюрократическом засилье, указывая на примеры Англии и Америки.

— Господа! — предложил я. — Не лучше ли нам сплестись в радостный хоровод и понестись в обетном плясе к Дионису?!

Мое предложение вызвало недоумение.

— То есть?..

— В нашей повседневности есть плясовой ритм. Сплетенный хоровод должен нестись даже в будничной жизни, перейдя с подмостков в жизнь... Позвольте вашу руку, мадам!.. Вот так... Господа! Ну, зачем быть такими унылыми?.. Возьмите вашу соседку за руку. Что вы смотрите на меня так недоумевающе? Готово? Ну, теперь можете нестись в радостном хороводе. Господа... Нельзя же так!..

Гости растерянно опустили сплетенные по моему указанию руки и робко уселись на свои места.

— Почему вам взбрела в голову такая идея — танцевать? — сухо спросил хозяин дома. — Когда будет танцевальный вечер, там молодежь и потанцует. А людям солидным ни с того ни с сего выкидывать козла — согласитесь сами...

Желая смягчить неловкую паузу, хозяйка сказала:

– А поэта Бунина в академики выбрали... Слышали?

Я пожал плечами.

– Ах, уж эта русская поэзия! В ней носятся частицы теософического кокса, этого буржуазнейшего из Антисмертинов...

Хозяйка побледнела.

А хозяин взял меня под руку, отвел в сторону и сурово шепнул:

– Надеюсь, после всего вами сказанного вы сами поймете, что бывать вам у нас неудобно...

Я укоризненно покачал головой и похлопал его по плечу:

– То-то и оно! Быстро примахались жасминовые тирсы наших первых мэнад. Вам только поручи какое-нибудь дело... Благодарю вас, не беспокойтесь... Я сам спущусь! Тут всего несколько ступенек...

* * *

По улице я шагал с тяжелым чувством.

Вот и устраивай с таким народом обетные плясы, вот и води хороводы! Дай ему жасминовый тирс, так он его не только примахает, да еще, в извозчий кнут обратив, тебя же им и оттузит! Дионисы!

Огорченный, я зашел в театр.

На сцене стоял, сжав кулаки, городничий, а перед ним на коленях купцы.

– Так – жаловаться?! – гремел городничий.

Я решил попытаться провести в жизнь так понравившуюся мне идею слияния публики со сценой.

– ...Жаловаться? Архиплуты, протобестии...

Я встал с места и, изобразив на лице возмущение, со своей стороны, продолжал:

– ...Надувалы морские! Да знаете ли вы, семь чертей и одна ведьма вам в зубы, что...

Оказалось, что идея участия публики в актерской игре еще не вошла в жизнь...

Когда околоточный надзиратель, сидя в конторе театра, писал протокол, он поднял на меня глаза и спросил:

– Что побудило вас вмешаться в действие пьесы?..

Я попытался оправдаться:

– Тирсы уж очень примахались, господин околоточный...

– Знаем мы вас, – скептически сказал околоточный. – Напьются, а потом – тирсы!..

Еще воспоминания о Чехове

Сей труд автор благоговейно посвящает Н. Ежову... как автору остроумного труда о Чехове, напечатанного в «Историческом вестнике».

I

Однажды мы с Антоном Павловичем сидели в его саду и тихо беседовали.

– Вас спрашивают... Можно вас видеть? – доложил старый слуга.

Непосредственно за этими словами из-за спины слуги раздался веселый голос:

– Чего там спрашивают?! Хо-хо! Смерть не люблю этих китайских церемоний! Доложи, да прими, да еще, пожалуй, визитные карточки потребуешь – терпеть не могу цирлих-манирлих. Здравствуй, Антоша!

Антон Павлович привстал и недоумевающе посмотрел на веселого господина в лихо надетом набекрень котелке, с жизнерадостными, но немного мутными глазами и с манерами красиво развязными и размашистыми...

– Простите... – недоумевая, сказал Антон Павлович.

– Не узнаешь, шельмец?! Славой... как это говорится... обуянь? Загордился? Хо-хо! Смерть не люблю, когда эдакое вот... двуногое – нос задирает!!!

– Не будете ли добры, – мягко сказал Чехов, юмористически взглянув на меня, – назвать себя, чтобы я мог вспомнить. С годами, знаете... память слабеет.

– Хо-хо! Как это говорится: Изабелла – ослабела! А ты, брат, изменился, похудел. Ну, что твоя чахотка? Небось, кро-

вью харкаешь уже?

— Будьте добры, — вмешался я, выступая вперед, — сказать, кто вы такой, потому что Антон Павлович вас не может узнать.

— А! И вы здесь... господин хороший! Как поживаете? Небось тоже пишите? Много развелось теперь пишущей братии... и всякий о себе мнит, что гений. Правильно, Антоша? Помнишь, как я тебя в былое время называл: Антошка-картошка? Да, брат, было времечко...

Веселый господин сел на мое место и, задумчиво сбивая суковатой палкой головки цветов на куртинах, продолжал:

— Вот видишь, Антоша... ты меня забыл, а я тебя помню. Забыл Колю, шельмец?! А ведь в одной газете работали. Я о кораблекрушениях разных, о бешеных собаках писал, а ты рассказы мастачил. Хо-хо! Ловкач ты, брат! Нос у тебя есть. Потому и выдвинулся, что нос есть. Умеешь по ветру... А я тоже, брат... стал уже разные фельетонные фигли-мигли разводить. Читал, небось, как я на днях отцов города за городские скверы продернул? Ванька Арепьев часто говорил: бойкое у тебя, Коля, перо... Ох, бойкое! Помнишь Ваньку Арепьева?

Чехов наморщил лоб.

— Что-то не помню... Фельетончика вашего о скверах, к сожалению, тоже не читал.

Веселый господин протяжно свистнул.

— Да ты что, Антоша... В самом деле в знаменитости про-

дираешься? За литературой не следишь, бывших друзей не признаешь... Оттого и вид у тебя такой... туберкулезный! А я, брат, тебе одну штуkenцию притащил. Замечательная повесть. Сам и писал, милый Антуан, собственными руками. Прочти и скажи свое вешее слово. Может, в «Русское богатство»строишь.

Антон Павлович со вздохом взял пожелтевшую, растрепанную, издававшую виды рукопись и развернул ее.

– Она у вас... гм... не обработана.

– Как не обработана? Врешь, брат, до последней запятой обработана!

– Да вот тут... первая же фраза: «К высокому гроту подъехал мужчина, который зиял темным загадочным отверстием...» Кто зиял?

– Конечно, грот. Всякий по смыслу догадается. А я уже вижу, брат, что ты подкапываешься. Нехорошо, Антоша... Неискренно! Конечно, с таким отношением к товарищу – никакое «Русское богатство» не напечатает. Ну, бог с тобой! У меня есть к тебе другая дружеская просьба... дай мне пятьсот рублей!

– Как – пятьсот рублей?

– В займы. Потом сосчитаемся.

– Да у меня такой суммы, право, нет...

– Полно врать-то! Небось в год зарабатываешь в пять раз больше. Ну, нет пятисот, дай триста. Я тебе оставлю мою рукопись... За нее всякий издатель даст в десять раз больше!

– Уверяю вас... У меня при себе рублей тридцать-сорок есть. И на те я должен жить всю неделю. Впрочем, половину – могу.

– Эх, Антоша! Засушила тебя слава! Мелок ты стал: товарищам завидуешь, в денежных отношениях потерял широту русской души... Жмешься, брат! А ведь все равно – кашляешь, кашляешь, да и помрешь скоро... Кому свои миллионы оставишь?

Веселый господин похлопал меня по плечу, как бы призывая в свидетели своего утверждения, покачал головой и, обиженный, исчез так же неожиданно, как явился.

Больше мы с ним не встречались...

II

Когда в печати появились воспоминания Куприна, Бунина и Горького – о Чехове, веселый господин решил, что настала его очередь.

«Что ж... – подумал он... – Недаром Ванька Арепьев частенько говорил, что у меня бойкое перо. Попробуем!»

Веселый господин отодвинул начатый фельетон о непозволительном отношении отцов города к водопроводному вопросу и начал:

Воспоминания о Чехове

Должен сказать, что Чехова я знал очень близко... Начали мы с ним в одной газете, и я по-приятельски даже называл его Антошей.

«Эх, ты, – говорю, – Антошка-картошка!»

Зная его близко, должен сказать, что дружественная критика окружила его совершенно незаслуженным ореолом и каким-то идолопоклонническим отношением...

Мало кому известно, что слухи о доброте и деликатности Антона Петровича были сильно преувеличены. Наоборот, покойный писатель к своим бывшим товарищам по работе относился с невыносимым пренебрежением, еле узнавал их при встрече.

Кроме того, угасший писатель был скупенек и часто, позванивая в кармане сторублевками, отказывал в займе даже своим близким нуждающимся друзьям.

Отличительной чертой незабвенного покойника была грубость, доходящая порой до наглости... Так, например, пишущий эти строки был свидетелем того, как Антон Павлович раскритиковал прекрасную повесть маститого писателя, который находился тут же. Нужно ли говорить, что эта грубая критика была совершенно несправедлива, являясь результатом болезненной зависти к более талантливым коллегам чужоточного писателя...

Покойный, конечно, понимал, что его нудные, тягучие измышления, лишенные элементарного знания жизни, сразу тускнели и терялись рядом с прекрасными, полными жизненной правды произведениями маститого автора. «Чего же спят наши отцы города, не обращая внимания на позорное состояние городской канализации».

К числу отрицательных свойств дорогого всем покойника нужно отнести также его известную близким приверженность к алкоголю и полнейшее неумение отличать свое от чужого. (Пишущий эти строки хорошо помнит, как незабвенный писатель обменял свои старые калоши на его новые и спрятал однажды, якобы по рассеянности, вместо носового платка – совсем новенькую салфетку.)

В будущем автор настоящих воспоминаний о Чехове постарается глубже и полнее очертить физическую и моральную физиономию писателя, так безвременно угасшего (настолько безвременно, что он забыл возратить автору этих воспоминаний серебряный портсигар и три рубля денег, похищенных тайком знаменитым певцом русских сумерек)...

Неизлечимые

*«Спрос на порнографическую литературу упал.
Публика начинает интересоваться сочинениями по
истории и естествознанию».
(«Книжн. известия»)*

Писатель Кукушкин вошел, веселый, радостный, к издателю Залежалову и, усмехнувшись, ткнул его игриво кулаком в бок.

– В чем дело?

– Вещь!

– Которая?

– Ага! Разгорелись глазки? Вот тут у меня лежит в кармане. Если будете паинькой в рассуждении аванса – так и быть, отдам!

Издатель нахмурил брови.

– Повесть?

– Она. Ха-ха! То есть такую машину закрутил, такую, что небо содрогнется! Вот вам наудачу две-три выдержки.

Писатель развернул рукопись.

«...Темная мрачная шахта поглотила их. При свете лампочки была видна полная волнующаяся грудь Лидии и ее упругие бедра, на которые Гремин смотрел жадным взглядом. Не помня себя, он судорожно прижал ее к груди, и все заверте...»

– Еще что? – сухо спросил издатель.

– Еще я такую штучку вывернул: «Дирижабль плавно взмахнул крыльями и взлетел... На руле сидел Маевич и жадным взором смотрел на Лидию, полная грудь которой волновалась и упругие выпуклые бедра дразнили своей близостью. Не помня себя, Маевич бросил руль, остановил пружину, прижал ее к груди, и все заверте...»

– Еще что? – спросил издатель так сухо, что писатель Кукушкин в ужасе и смятении посмотрел на него и опустил глаза.

– А... еще... вот... Ззззб... бавно! «Линевич и Лидия, стесненные тяжестью водолазных костюмов, жадно смотрели друг на друга сквозь круглые стеклянные окошечки в головных шлемах... Над их головами шмыгали пароходы и броненосцы, но они не чувствовали этого. Сквозь неуклюжую, мешковатую одежду водолаза Линевич угадывал полную волнующуюся грудь Лидии и ее упругие выпуклые бедра. Не помня себя, Линевич взмахнул в воде руками, бросился к Лидии, и все заверте...»

– Не надо, – сказал издатель.

– Что не надо? – вздрогнул писатель Кукушкин.

– Не надо. Идите, идите с богом.

– В-вам... не нравится? У... у меня другие места есть... Внучек увидел бабушку в купальне... А она еще была молодая.

– Ладно, ладно. Знаем! «Не помня себя он бросился к ней, схватил ее в объятия, и все заверте...»

– Откуда вы узнали? – ахнул, удивившись, писатель Кукушкин. – Действительно, так и есть у меня.

– Штука не хитрая. Младенец догадается! Теперь это, брат Кукушкин, уже не читается. Ау! Ищи, брат Кукушкин, новых путей.

Писатель Кукушкин с отчаянием в глазах почесал затылок

и огляделся:

– А где тут у вас корзина?

– Вот она, – указал издатель.

Писатель Кукушкин бросил свою рукопись в корзину, вытер носовым платком мокрое лицо и лаконично спросил:

– О чем нужно?

– Первее всего теперь читается естествознание и исторические книги. Пиши, брат Кукушкин, что-нибудь там о боярах, о жизни мух разных...

– А аванс дадите?

– Под боярина дам. Под муху дам. А под упругие бедра не дам! И под «все завертелось» не дам!!!

– Давайте под муху, – вздохнул писатель Кукушкин.

* * *

Через неделю издатель Залежалов получил две рукописи. Были они такие:

I. Боярская проруха

Боярышня Лидия, сидя в своем тереме старинной архитектуры, решила ложиться спать. Сняв с высокой волнующейся груди кокошник, она стала стягивать с красивой полной ноги сарафан, но в это время распахнулась старинная дверь и вошел молодой князь

Курбский.

Затуманенным взором, молча, смотрел он на высокую волнующуюся грудь девушки и ее упругие выпуклые бедра.

– Ой ты, гой еси! – воскликнул он на старинном языке того времени.

– Ой ты, гой еси, исполать тебе, добрый молодец! – воскликнула боярышня, падая князю на грудь, и – все заверте...

II. Мухи и их привычки

(Очерки из жизни насекомых)

Небольшая стройная муха с высокой грудью и упругими бедрами ползла по откосу запыленного окна.

Звали ее по-мушиному – Лидия.

Из-за угла вылетела большая черная муха, села против первой и с еле сдерживаемым порывом страсти стала потирать над головой стройными мускулистыми лапками. Высокая волнующаяся грудь Лидии ударила в голову черной мухи чем-то пьянящим... Простерши лапки, она крепко прижала Лидию к своей груди, и все заверте...

Золотой век

I

По приезду в Петербург я явился к старому другу, репортеру Стремглавову, и сказал ему так:

– Стремглавов! Я хочу быть знаменитым.

Стремглавов кивнул одобрительно головой, побарабанил пальцами по столу, закурил папиросу, закрутил на столе пельницу, поболтал ногой – он всегда делал несколько дел сразу – и отвечал:

– Нынче многие хотят сделаться знаменитыми.

– Я не «многий», – скромно возразил я. – Василиев, чтоб они были Максимычами и в то же время Кандыбиными – встретишь, брат, не каждый день. Это очень редкая комбинация!

– Ты давно пишешь? – спросил Стремглавов.

– Что... пишу?

– Ну, вообще – сочиняешь!

– Да я ничего и не сочиняю.

– Ага! Значит – другая специальность. Рубенсом думаешь сделаться?

– У меня нет слуха, – откровенно сознался я.

– На что слуха?

– Чтобы быть этим вот... как ты его там назвал?... Музыкантом...

– Ну, брат, это ты слишком. Рубенс не музыкант, а художник.

Так как я не интересовался живописью, то не мог упомянуть всех русских художников, о чем Стремглавову и заявил, добавив:

– Я умею рисовать метки для белья.

– Не надо. На сцене играл?

– Играл. Но когда я начинал объясняться героине в любви, у меня получался такой тон, будто бы я требую за переноску рояля на водку. Антрепренер и сказал, что лучше уж пусть я на самом деле таскаю на спине рояли. И выгнал меня.

– И ты все-таки хочешь стать знаменитостью?

– Хочу. Не забывай, что я умею рисовать метки!

Стремглавов почесал затылок и сразу же сделал несколько дел: взял спичку, откусил половину, завернул ее в бумажку, бросил в корзину, вынул часы и, засвистав, сказал:

– Хорошо. Придется сделать тебя знаменитостью. Отчасти, знаешь, даже хорошо, что ты мешаешь Рубенса с Робинзоном Крузо и таскаешь на спине рояли – это придает тебе оттенок непосредственности.

Он дружески похлопал меня по плечу и обещал сделать все, что от него зависит.

II

На другой день я увидел в двух газетах в отделе «Новости искусства» такую странную строку:

– «Здоровье Кандыбина поправляется».

– Послушай, Стремглавов, – спросил я, приехав к нему, – почему мое здоровье поправляется? Я и не был болен.

– Это так надо, – сказал Стремглавов. – Первое известие, которое сообщается о тебе, должно быть благоприятным... Публика любит, когда кто-нибудь поправляется.

– А она знает – кто такой Кандыбин?

– Нет. Но она теперь уже заинтересовалась твоим здоровьем, и все будут при встречах сообщать друг другу: «А здоровье Кандыбина поправляется».

– А если тот спросит: «Какого Кандыбина?»

– Не спросит. Тот скажет только: «Да? А я думал, что ему хуже».

– Стремглавов! Ведь они сейчас же и забудут обо мне!

– Забудут. А я завтра пущу еще такую заметку: «В здоровье нашего маститого»... Ты чем хочешь быть: писателем? художником?..

– Можно писателем.

«В здоровье нашего маститого писателя Кандыбина наступило временное ухудшение. Вчера он съел только одну котлетку и два яйца всмятку. Температура 39,7».

– А портрета еще не нужно?

– Рано. Ты меня извини, я должен сейчас ехать давать заметку о котлете.

И он, озабоченный, убежал.

III

Я с лихорадочным любопытством следил за своей новой жизнью.

Поправлялся я медленно, но верно. Температура падала, количество котлет, нашедших приют в моем желудке, все увеличивалось, а яйца я рисковал уже съесть не только всмятку, но и вкрутую.

Наконец я не только выздоровел, но даже пустился в авантюры.

– «Вчера, – писала одна газета, – на вокзале произошло печальное столкновение, которое может окончиться дуэлью. Известный Кандыбин, возмущенный резким отзывом капитана в отставке о русской литературе, дал последнему пощечину. Противники обменялись карточками».

Этот инцидент вызвал в газетах шум.

Некоторые писали, что я должен отказаться от всякой дуэли, так как в пощечине не было состава оскорбления, и что общество должно беречь русские таланты, находящиеся в расцвете сил.

Одна газета говорила:

«Вечная история Пушкина и Дантеса повторяется в нашей полной несообразностей стране. Скоро, вероятно, Кандыбин подставит свой лоб под пулю какого-то капитана Ч*. И мы спрашиваем – справедливо ли это? С одной стороны – Кандыбин, с другой – какой-то никому не ведомый капитан Ч*».

«Мы уверены, – писала другая газета, – что друзья Кандыбина не допустят его до дуэли.

Большое впечатление произвело известие, что Стремглавов (ближайший друг писателя) дал клятву, в случае несчастного исхода дуэли, драться самому с капитаном Ч*».

Ко мне заезжали репортеры.

– Скажите, – спросили они, – что побудило вас дать капитану пощечину?

– Да ведь вы читали, – сказал я. – Он резко отзывался о русской литературе. Наглец сказал, что Айвазовский был бездарным писакой.

– Но ведь Айвазовский – художник! – изумленно воскликнул репортер.

– Все равно. Великие имена должны быть святыней, – строго отвечал я.

IV

Сегодня я узнал, что капитан Ч* позорно отказался от дуэли, а я уезжаю в Ялту.

При встрече со Стремглавовым я спросил его:

– Что, я тебе надоел, что ты меня сплавляешь?

– Это надо. Пусть публика немного отдохнет от тебя. И потом это шикарно: «Кандыбин едет в Ялту, надеясь окончить среди чудной природы юга большую, начатую им вещь».

– А какую вещь я начал?

– Драму «Грани смерти».

– Антрепренеры не будут просить ее для постановки?

– Конечно, будут. Ты скажешь, что, закончив, остался ею недоволен и сжег три акта. Для публики это канальски эффектно!

Через неделю я узнал, что в Ялте со мной случилось несчастье: взбираясь по горной круче, я упал в долину и вывихнул себе ногу. Опять началась длинная и утомительная история с сидением на куриных котлетках и яйцах.

Потом я выздоровел и для чего-то поехал в Рим... Дальнейшие мои поступки страдали полным отсутствием всякой последовательности и логики.

В Ницце я купил виллу, но не остался в ней жить, а отправился в Бретань кончать комедию «На заре жизни». Пожар моего дома уничтожил рукопись, и поэтому (совершенно идиотский поступок) я приобрел клочок земли под Нюрнбергом.

Мне так надоели бессмысленные мытарства по белу свету и непроизводительная трата денег, что я отправился к Стреглавову и категорически заявил:

– Надоело! Хочу, чтобы юбилей.

– Какой юбилей?

– Двадцатипятилетний.

– Много. Ты всего-то три месяца в Петербурге. Хочешь десятилетний?

– Ладно, – сказал я. – Хорошо проработанные 10 лет дороже бессмысленно прожитых 25.

– Ты рассуждаешь, как Толстой! – восхищенно вскричал Стремглавов.

– Даже лучше. Потому что я о Толстом ничего не знаю, а он обо мне узнает.

V

Сегодня справлял десятилетний юбилей своей литературной и научно-просветительной деятельности...

На торжественном обеде один маститый литератор (не знаю его фамилии) сказал речь.

– Вас приветствовали, как носителя идеалов молодежи, как певца родной скорби и нищеты, – я же скажу только два слова, но которые рвутся из самой глубины наших душ: здравствуй, Кандыбин!

– А, здравствуйте, – приветливо отвечал я, польщенный. – Как вы поживаете?

Все целовали меня.

Четверг

В восемь часов вечера Ляписов заехал к Андромахскому и спросил его:

– Едете к Пылинкиным?

– А что? – спросил, покривившись, Андромахский. – Разве сегодня четверг?

– Конечно, четверг. Сколько четвергов вы у них бывали и все еще не можете запомнить.

Андромахский саркастически улыбнулся:

– Зато я твердо знаю, что мы будем там делать. Когда мы войдем, m-me Пылинкина сделает радостно-изумленное лицо: «Господи! Андрей Павлович! Павел Иванович! Как это мило с вашей стороны!» Что мило? Что мило, черт ее возьми, эту тощую бабу, меняющую любовников – не скажу даже, как перчатки, потому что перчатки она меняет гораздо реже! Что мило? То ли мило, что мы являемся всего один раз в неделю, или то – что, войдя, не разгоняем сразу пинками всех ее глупых гостей? «Садитесь, пожалуйста. Чашечку чаю?» Ох, эта мне чашечка чаю! И потом начинается: «Были на лекции о Ведекинде?» А эти проклятые лекции, нужно вам сказать, читаются чуть ли не каждый день! Нет, скажешь, не был. «Не были? Как же это вы так?» Ну, что, если после этого взять, стать перед ней на колени, заплакать и сказать: «Простите меня, что я не был на лекции о Ведекинде. Я всю

жизнь посвящу на то, чтобы замолить этот грех. Детям своим завещаю бывать от двух до трех раз на Ведекинде, кухарку вместо бани буду посылать на Ведекинда и на смертном одре завещаю все свое состояние лекторам, читающим о Ведекинде. Простите меня, умная барыня, и кланяйтесь от меня всем вашим любовникам!»

Ляписов засмеялся:

– Не скажете!

– Конечно, не скажу. В том-то и ужас, что не скажу. И еще в том ужас, что и она, и все ее гости моментально и бесследно забывают о Ведекинде, о лекциях и с лихорадочным любопытством набрасываются на какую-то босоножку. «Видели танцы новой босоножки? Мне нравится». А другой осел скажет: «А мне не нравится». А третий отвечает: «Не скажите! Это танцы будущего, и они мне нравятся. Когда я был в Берлине, в кафешантане...» – «Ах, – скажет игриво m-me Пылинкина, – вам, мужчинам, только бы все кафешантаны!» Конечно – нужно было бы сказать ей, – кафешантаны. А тебе бы все любовники да любовники. «Семен Семеныч! Чашечку чаю с печеньем, а? Пожалуйста! Читали статью о Вейнингере?» А чайшко-то у нее, признаться, скверный, да и печенье тленом пахнет... И вы замечаете? Замечаете? Уже о босоножке забыто, танцы будущего провалились бесследно до будущего четверга, разговор о кафешантане держится две минуты, увядает, осыпается, и на его месте пышно расцветает беседа о новой пьесе, причем одному она нра-

вится, другому не нравится, а третий выражает мнение, что она так себе. Да ведь он ее не видел?! Не видел, уверяю вас, шут этакий, мошенник, мелкий хам!! А ты должен сидеть, пить чашечку чаю и говорить, что босоножка тебе нравится, новая пьеса производит впечатление слабой, а кафешантаны скучны, потому что все номера однообразны.

Ляписов вынул часы:

– Однако уже скоро девять!

– Сейчас. Я в минутку оденусь. Да ведь там только к девяти и собираются... Одну минуточку.

* * *

В девять часов вечера Андромахский и Ляписов приехали к Пылинкиным.

М-ме Пылинкина увидела их еще в дверях и с радостным изумлением воскликнула:

– Боже ты мой, Павел Иванович! Андрей Павлыч! Садитесь. Очень мило с вашей стороны, что заехали. Чашечку чаю?

– Благодарю вас! – ласково наклонил голову Андромахский. – Не откажусь.

– А мы с мужем думали, что встретим вас вчера...

– Где? – спросил Андромахский.

– Как же! В Соляном Городке! Грудастов читал о Пшебышевском.

На лице Андромахского изобразилось неподдельное отча-

яние.

– Так это было вчера?! Экая жалость! Я мельком видел в газетах и, представьте, думал, что она будет еще не скоро. Я теперь газеты вообще мельком просматриваю.

– В газетах теперь нет ничего интересного, – сказал из-за угла чей-то голос.

– Репрессии, – вздохнула хозяйка. – Обо всем запрещают писать. Чашечку чаю?

– Не откажусь, – поклонился Ляписов.

– Мы выписали две газеты и жалеем. Можно бы одну выписать.

– Ну, иногда в газетах можно натолкнуться на что-нибудь интересное... Читали на днях, как одна дама гипнотизмом выманила у домовладельца тридцать тысяч?

– Хорошенькая? – игриво спросил Андромахский.

Хозяйка кокетливо махнула на него салфеточкой:

– Ох, эти мужчины! Им бы все только – хорошенькая! Ужасно вы испорченный народ.

– Ну, нет, – сказал Ляписов. – Вейнингер держится обратного мнения... У него ужасное мнение о женщинах...

– Есть разные женщины и разные мужчины, – слышался из полутемного угла тот же голос, который говорил, что в газетах нет ничего интересного. – Есть хорошие женщины и хорошие мужчины. И плохие есть там и там.

– У меня был один знакомый, – сказала полная дама. – Он был кассиром. Служил себе, служил, и – представьте –

ничего. А потом познакомился с какой-то кокоткой, растратил казенные деньги и бежал в Англию. Вот вам и мужчины ваши!

– А я против женского равноправия! – сказал господин с густыми бровями. – Что это такое? Женщина должна быть матерью! Ее сфера – кухня!

– Извините-с! – возразила хозяйка. – Женщина такой же человек, как и мужчина! А ей ничего не позволяют делать!

– Как не позволяют? Все позволяют! Вот одна на днях в театре танцевала с голыми ногами. Очень было мило. Сфера женщины – все изящное, женственное.

– А по-моему, она вовсе не изящна. Что это такое – ноги толстые и сама скачет, как козел!

– А мне нравится! – сказал маленький лысый человек. – Это танцы будущего, и они открывают новую эру в искусстве.

– Чашечку чаю! – предложила хозяйка Андромахскому. – Может быть, желаете рюмочку коньяку туда?

– Мерси. Я вообще не пью. Спиртные напитки вредны.

Голос из угла сказал:

– Если спиртные напитки употреблять в большом количестве, то они, конечно, вредны. А если иногда выпить рюмочку – это не может быть вредным.

– Ничем не надо злоупотреблять, – сказала толстая дама.

– Безусловно. Все должно быть в меру, – уверенно ответил Ляписов.

Андромахский встал, вздохнул и сказал извиняющимся

тоном:

– Однако я должен спешить. Позвольте, Марья Игнатьевна, откланяться.

На лице хозяйки выразился ужас.

– Уже?! Посидели бы еще...

– Право, не могу.

– Ну, одну минутку!

– С наслаждением бы, но...

– Какой вы, право, нехороший... До свиданья. Не забывайте! Очень будем рады с мужем видеть вас.

Ласковая, немного извиняющаяся улыбка бродила на лице Андромаского до тех пор, пока он не вышел в переднюю. Когда нога его перешагнула порог – лицо приняло выражение холодной злости, скуки и бешенства.

Он оделся и вышел.

* * *

Захлопнув за собой дверь, Андромаский остановился на полутемной площадке лестницы и прислушался.

До него явственно донеслись голоса: его приятеля Ляписова, толстой дамы и m-me Пылинкиной.

– Что за черт?

Он огляделся. Над его головой тускло светило узенькое верхнее окно, выходившее, очевидно, из пылинкинской гостиной. Слышно было всякое слово – так отчетливо, что Ан-

дромахский, уловив свою фамилию, прислонился к перилам и застыл...

– Куда это он так вскочил? – спросил голос толстой дамы.

– К жене, – отвечал голос Ляписова.

М-ме Пылинкина засмеялась:

– К жене! С какой стороны?!

– Что вы! – удивилась толстая дама. – Разве он такой?..

– Он?! – сказал господин с густыми бровями. – Я его считал бы добродетельнейшим человеком, если бы он изменял только жене с любовницей. Но он изменяет любовнице с горничной, горничной – с белошвейкой, шьющей у жены, и так далее. Разве вы не знаете?

– В его защиту я должен сказать, что у него есть одна неизменная привязанность, – сказал лысый старичок.

– К кому?

– Не к кому, а к чему... К пиву! Он выпивает в день около двадцати бутылок!

Все рассмеялись.

– Куда же вы? – послышался голос хозяйки.

– Я и так уже засиделся, – отвечал голос Ляписова. – Нужно спешить.

– Посидите еще! Ну, одну минуточку! Недобрый, недобрый! До свиданья. Не забывайте нашего шалаша.

Когда Ляписов вышел, захлопнув дверь, на площадку, он увидел прислонившегося к перилам Андромахского и еле сдержал восклицание удивления.

– Тсс!.. – прошептал Андромахский, указывая на окно. – Слушайте! Это очень любопытно...

– Какой симпатичный этот Ляписов, – сказала хозяйка. – Не правда ли?

– Очень милый, – отвечал господин с густыми бровями. – Только вид у него сегодня был очень расстроенный.

– Неприятности! – слышался сочувственный голос толстой дамы.

– Семейные?

– Нет, по службе. Все игра проклятая!

– А что, разве?..

– Да, про него стали ходить тревожные слухи. Получает в месяц двести рублей, а проигрывает в клубе в вечер по тысяче. Вы заметили, как он изменился в лице, когда я ввернула о кассире, растратившем деньги и бежавшем в Англию?

– Проклятая баба, – прошептал изумленный Ляписов. – Что она такое говорит!

– Хорошее оконце! – улыбнулся Андромахский.

– ...Куда же вы? Посидели бы еще!

– Не могу-с! Время уже позднее, – слышался голос лы-

сого господина. — А ложусь-то я, знаете, рано.

— Какая жалость, право!

* * *

На площадку лестницы вышел лысый господин, закутанный в шубу, и испуганно отшатнулся при виде Ляписова и Андромахского.

Андромахский сделал ему знак, указал на окно и в двух словах объяснил преимущество занятой ими позиции.

— Сейчас о вас будет. Слушайте!

— Я никогда не встречала у вас этого господина, — донесся голос толстой дамы. — Кто это такой?

— Это удивительная история, — отвечала хозяйка. — Я удивляюсь, вообще... Представили его мне в театре, а я и не знаю, кто и что он такое. Познакомил нас Дерябин. Я говорю Дерябину между разговором: «Отчего вы не были у нас в прошлый четверг?» А этот лысый и говорит мне: «А у вас четверг? Спасибо, буду». Никто его и не звал, я даже и не намекала. Поразительно некоторые люди толстокожи и назойливы! Пришлось с приятной улыбкой сказать: «Пожалуйста! Буду рада».

— Ах ты, дрянь этакая, — прошептал огорченно лысый старичок. — Если бы знал — никогда бы к тебе не пришел. Вы ведь знаете, молодой человек, — обратился он к Андромахскому, — эта худая выдра в интимных отношениях с тем са-

мым Дерябиным, который нас познакомил. Ей-богу! Мне Дерябин сам и признался. Чистая уморушка!

— А вы зачем соврали там, в гостинной, что я выпиваю двадцать бутылок пива в день? — сурово спросил старичка Андромахский.

— А вы мне очень понравились, молодой человек, — виновато улыбнулся старичок. — Когда зашел о вас разговор — я и думаю: дай верну словечко!

— Пожалуйста, никогда не ввертывайте обо мне словечка. О чем они там сейчас говорят?

— Опять обо мне, — сказал Ляписов. — Толстая дама выражает опасение, что я не сегодня-завтра сбегу с казенными деньгами.

— Проклятая лягушка! — проворчал Андромахский. — Если бы вы ее самое знали! Устраивает благотворительные вечера и ворует все деньги. Одну дочку свою буквально продала сибирскому золотопромышленнику!

— Ха-ха! — злобно засмеялся старичок. — А вы заметили этого кретиновидного супруга хозяйки, сидевшего в углу?..

— Как же! — усмехнулся Андромахский. — Он сказал ряд очень циничных афоризмов: что в газетах нет ничего интересного, что женщины и мужчины бывают плохие и хорошие и что если пить напитков много, то это скверно, а мало — ничего...

Старичок, Ляписов и Андромахский уселись для удобства на верхней ступеньке площадки, и Андромахский продол-

жал:

– И он так глуп, что не замечал, как старуха Пылинкина подмигивала несколько раз этому густобровому молодцу. Очевидно, дело с новеньким лямиделямезончиком на мази!

– Хе-хе! – тихонько засмеялся Ляписов. – А вы знаете, старче, как Андромахский сегодня скаламбурил насчет этой Мессалины: она не меняет любовников, как перчатки, только потому, что не меняет перчаток.

Лысый старичок усмехнулся:

– Заметили, чай у них мышами пахнет! Хоть бы людей постыдились...

* * *

Когда госпожа Пылинкина, провожая толстую даму, услышала на площадке голоса и выглянула из передней, она с изумлением увидела рассевшуюся на ступеньках лестницы компанию...

– Я уверен, – говорил увлеченный разговором Ляписов, – что эта дура Пылинкина не только не читала Ведекинда, но, вероятно, путает его с редерером, который она распивает по отдельным кабинетам с любовниками.

– Ну да! – возражал Андромахский. – Станут любовники поить ее редерером. Бутылка клюквенного квасу, бутерброд с чайной колбасой – и m-me Пылинкина, соблазненная этой царской роскошью, готова на все!..

Госпожа Пылинкина кашлянула, сделала вид, что вышла только сейчас, и с деланным удивлением сказала:

– А вы, господа, еще здесь! Заговорились? Не забудьте же – в будущий четверг!

Мозаика

I

– Я несчастный человек – вот что!

– Что за вздор?! Никогда я этому не поверю.

– Уверяю тебя.

– Ты можешь уверять меня целую неделю, и все-таки я скажу, что ты городишь самый отчаянный вздор. Чего тебе недостает? Ты имеешь ровный, мягкий характер, деньги, кучу друзей и, главное, – пользуешься вниманием и успехом у женщин.

Вглядываясь печальными глазами в неосвещенный угол комнаты, Кораблев тихо сказал:

– Я пользуюсь успехом у женщин...

Посмотрел на меня исподлобья и смущенно сказал:

– Знаешь ли ты, что у меня шесть возлюбленных?!

– Ты хочешь сказать – было шесть возлюбленных? В разное время? Я, признаться, думал, что больше.

– Нет, не в разное время, – вскричал с неожиданным оду-

шевлением в голосе Кораблев, – не в разное время!! Они сейчас у меня есть! Все!

Я в изумлении всплеснул руками.

– Кораблев! Зачем же тебе столько?

Он опустил голову.

– Оказывается, меньше никак нельзя. Да... Ах, если бы ты знал, что это за беспокойная, хлопотливая штука... Нужно держать в памяти целый ряд фактов, уйму имен, запоминать всякие пустяки, случайно оброненные слова, изворачиваться и каждый день, с самого утра, лежа в постели, придумывать целый воз тонкой, хитроумной лжи на текущий день.

– Кораблев! Для чего же... шесть?

Он положил руку на грудь.

– Должен тебе сказать, что я вовсе не испорченный человек. Если бы я нашел женщину по своему вкусу, которая наполнила бы все мое сердце, – я женился бы завтра. Но со мной происходит странная вещь: свой идеал женщины я нашел не в одном человеке, а в шести. Это, знаешь, вроде мо-заики.

– Мо-за-ики?

– Ну да, знаешь, такое – из разноцветных кусочков складывается. А потом картина выходит. Мне принадлежит прекрасная идеальная женщина, но куски ее разбросаны в шести персонах...

– Как же это вышло? – в ужасе спросил я.

– Да так. Я, видишь ли, не из того сорта людей, которые,

встретившись с женщиной, влюбляются в нее, не обращая внимания на многое отрицательное, что есть в ней. Я не согласен с тем, что любовь слепа. Я знал таких простаков, которые до безумия влюблялись в женщин за их прекрасные глаза и серебристый голосок, не обращая внимания на слишком низкую талию или большие красные руки. Я в таких случаях поступаю не так. Я влюбляюсь в красивые глаза и великолепный голос, но так как женщина без талии и рук существовать не может – отправляюсь на поиски всего этого. Нахожу вторую женщину – стройную, как Венера, с обворожительными ручками. Но у нее сентиментальный, плаксивый характер. Это, может быть, хорошо, но очень и очень изредка... Что из этого следует? Что я должен отыскать женщину с искрометным прекрасным характером и широким душевным размахом! Иду, ищу... Так их и набралось шестеро!

Я серьезно взглянул на него.

– Да, это действительно похоже на мозаику.

– Не правда ли? Форменная. У меня, таким образом, составила лучшая, может быть, женщина в мире, но если бы ты знал – как это тяжело! Как это дорого мне обходится!..

Со стоном он схватил себя руками за волосы и закачал головой направо и налево.

– Все время я должен висеть на волоске. У меня плохая память, я очень рассеянный, а у меня в голове должен находиться целый арсенал таких вещей, которые, если тебе рассказать, привели бы тебя в изумление. Кое-что я, правда, за-

писываю, но это помогает лишь отчасти.

– Как записываешь?

– В записной книжке. Хочешь? У меня сейчас минута откровенности, и я без утайки тебе все рассказываю. Поэтому могу показать и свою книжку. Только ты не смейся надо мной.

Я пожал ему руку:

– Не буду смеяться. Это слишком серьезно... Какие уж тут шутки!

– Спасибо. Вот видишь – скелет всего дела у меня отмечен довольно подробно. Смотри: «Елена Николаевна. Ровный, добрый характер, чудесные зубы, стройная. Поет. Играет на фортепиано».

Он почесал углом книжки лоб.

– Я, видишь ли, люблю очень музыку. Потом, когда она смеется – я получаю истинное наслаждение; очень люблю ее! Здесь есть подробности: «Любит, чтобы называли ее Лялей. Любит желтые розы. Во мне ей нравится веселье и юмор. Люб. шампанск. Аи. Набожн. Остерег. своб. рассужд. о религ. вопр. Остерег. спрашив. о подруге Китти. Подозрев., что подруга Китти равнодушна ко мне»... Теперь дальше: «Китти... Сорванец, способный на всякую шалость. Рост маленький. Не люб., когда ее целуют в ухо. Кричит. Остерег. целов. при посторонн. Из цветов люб. гиацинты. Шамп. только рейнское. Гибкая, как лоза, чудесно танц. матчиш. Люб. засахар. каштаны и ненавид. музыку. Остерег. музыки

и упоминания об Елене Ник. Подозрев.»...

Кораблев поднял от книжки измученное, страдальческое лицо.

– И так далее. Понимаешь ли – я очень хитер, увертлив, но иногда бывают моменты, когда я чувствую себя летящим в пропасть... Частенько случалось, что я Китти называл «дорогой единственной своей Настей», а Надежду Павловну просил, чтобы славная Маруся не забывала своего верного возлюбленного. В тех слезах, которые исторгались после подобных случаев, можно было бы с пользой выкупаться.

Однажды Лялю я назвал Соней и избежал скандала только тем, что указал на это слово, как на производное от слова «спать». И хотя она ни капельки не была сонная, но я победил ее своей правдивостью. Потом уже я решил всех поголовно называть дусями, без имени, благо, что около того времени пришлось мне встретиться с девицей по имени Дуся (прекрасные волосы и крошечные ножки. Люб. театр. Автомоб. ненавидит. Остерег. автомоб. и упомин. о Насте. Подозрев.).

Я помолчал.

– А они... тебе верны?

– Конечно. Так же, как я им. И каждую из них я люблю по-своему за то, что есть у нее хорошего. Но шестеро – это тяжело до обморока. Это напоминает мне человека, который когда собирается обедать, то суп у него находится на одной улице, хлеб на другой, а за солью ему приходится бегать на

дальний конец города, возвращаясь опять за жарким и десертом в разные стороны. Такому человеку, так же как и мне, приходилось бы день-деньской носиться как угорелому по всему городу, всюду опаздывать, слышать упреки и насмешки прохожих... И во имя чего?!

Я был подавлен его рассказом. Помолчав, встал и сказал:

– Ну, мне пора. Ты остаешься здесь, у себя?

– Нет, – отвечал Кораблев, безнадежно смотря на часы. – Сегодня мне в половине седьмого нужно провести вечер по обещанию у Елены Николаевны, а в семь – у Насти, которая живет на другом конце города.

– Как же ты устроишься?

– Я придумал сегодня утром. Заеду на минутку к Елене Николаевне и осыплю ее градом упреков за то, что на прошлой неделе знакомые видели ее в театре с каким-то блондином. Так как это сплошная выдумка, то она ответит мне в резком, возмущенном тоне, – я обижусь, хлопну дверью и уйду. Поеду к Насте.

Беседуя со мной таким образом, Кораблев взял палку, надел шляпу и остановился, задумчивый, что-то соображающий.

– Что с тобой?

Молча снял он с пальца кольцо с рубином, спрятал его в карман, вынул часы, перевел стрелки и затем стал возиться около письменного стола.

– Что ты делаешь?

– Видишь, тут у меня стоит фотографическая карточка Насти, подаренная мне с обязательством всегда держать ее на столе. Так как Настя сегодня ждет меня у себя и ко мне, следовательно, никоим образом не заедет, то я без всякого риска могу спрятать портрет в стол. Ты спросишь – почему я это делаю? Да потому, что ко мне может забежать маленький сорванец Китти и, не застав меня, захочет написать два-три слова о своем огорчении. Хорошо ли будет, если я оставлю на столе портрет соперницы? Лучше же я поставлю на это время карточку Китти.

– А если заедет не Китти, а Маруся... И вдруг она увидит на столе Киттин портрет?

Кораблев потер голову.

– Я уже думал об этом... Маруся ее в лицо не знает, и я скажу, что это портрет моей замужней сестры.

– А зачем ты кольцо снял с пальца?

– Это подарок Насти. Елена Николаевна однажды приревновала меня к этому кольцу и взяла слово, чтоб я его не носил. Я, конечно, обещал. И теперь перед Еленой Николаевной я его снимаю, а когда предстоит встреча с Настей – надеваю. Помимо этого мне приходится регулировать запахи своих духов, цвет галстуков, переводить стрелки часов, подкупать швейцаров, извозчиков и держать в памяти не только все сказанные слова, но и то – кому они сказаны и по какому поводу.

– Несчастный ты человек, – участливо прошептал я.

– Я же тебе и говорил! Конечно, несчастный.

II

Расставшись на улице с Кораблевым, я потерял его из виду на целый месяц. Дважды за это время мною получаемы были от него странные телеграммы:

«2 и 3 числа настоящего месяца мы ездили с тобой в Финляндию. Смотри, не ошибись. При встрече с Еленой сообщи ей это».

И:

«Кольцо с рубином у тебя. Ты отдал его ювелиру, чтобы изготовить такое же. Напиши об этом Насте. Остерег. Елены».

Очевидно, мой друг непрерывно кипел в том страшном котле, который был им сотворен в угоду своему идеалу женщины; очевидно, все это время он как угорелый носился по городу, подкупал швейцаров, жонглировал кольцами, портретами и вел ту странную, нелепую бухгалтерию, которая его только и спасала от крушения всего предприятия.

Встретившись однажды с Настей, я вскользь упомянул, что взял на время у Кораблева прекрасное кольцо, которое теперь у ювелира – для изготовления такого же другого.

Настя расцвела.

– Правда? Так это верно? Бедняжка он... Напрасно я так его терзала. Кстати, вы знаете – его нет в городе! Он на две

недели уехал к родным в Москву.

Я этого не знал, да и вообще был уверен, что это один из сложных бухгалтерских приемов Кораблева; но все-таки тут же счел долгом поспешно воскликнуть:

– Как же, как же! Я уверен, что он в Москве.

Скоро я, однако, узнал, что Кораблев действительно был в Москве и что с ним там случилось страшное несчастье.

Узнал я об этом по возвращении Кораблева – от него самого.

III

– Как же это случилось?

– Бог его знает! Ума не приложу. Очевидно, вместо бумажника жулики вытащили. Я делал публикации, обещал большие деньги – все тщетно! Погиб я теперь окончательно.

– А по памяти восстановить не можешь?

– Да... попробуй-ка! Ведь там было, в этой книжке, все до мельчайших деталей – целая литература! Да еще за две недели отсутствия я все забыл, все перепуталось в голове, и я не знаю – нужно ли мне сейчас поднести Марусе букет желтых роз или она их терпеть не может? И кому я обещал привезти из Москвы духи «Лотос» – Насте или Елене? Кому-то из них я обещал духи, а кому-то полдюжины перчаток номер шесть с четвертью... А может – пять три четверти? Кому? Кто швырнет мне в физиономию духи? И кто – перчатки?

Кто подарил мне галстук, с обязательством надевать его при свиданиях? Соня? Или Соня именно и требовала, чтобы я не надевал никогда этой темно-зеленой дряни, подаренной – «я знаю кем!». Кто из них не бывал у меня на квартире никогда? И кто бывал? И чьи фотографии я должен прятать? И когда?

Он сидел с непередаваемым отчаянием во взоре. Сердце мое сжалось.

– Бедняга ты! – сочувственно прошептал я. – Дай-ка, может быть, я кое-что вспомню... Кольцо подарено Настей. Значит, «остерег. Елены»... Затем карточки... Если приходит Китти, то Марусю можно прятать, так как она ее знает, Настю – не прятать? Или, нет – Настю прятать? Кто из них сходил за твою сестру? Кто из них кого знает?

– Не знаю, – простонал он, сжимая виски. – Ничего не помню! Э, черт! Будь что будет.

Он вскочил и схватился за шляпу.

– Еду к ней!

– Сними кольцо, – посоветовал я.

– Не стоит. Маруся к кольцу равнодушна.

– Тогда надень темно-зеленый галстук.

– Если бы я знал! Если бы знать – кто его подарил и кто его ненавидит... Э, все равно!.. Прощай, друг.

IV

Всю ночь я беспокоился, боясь за моего несчастного дру-

га. На другой день утром я был у него. Желтый, измученный, сидел он у стола и писал какое-то письмо.

– Ну, что? Как дела?

Он устало помотал в воздухе рукой.

– Все кончено. Все погибло. Я опять почти одинок!..

– Что же случилось?

– Дрянь случилась, бессмыслица. Я хотел действовать на авось... Захватил перчатки и поехал к Соне. «Вот, дорогая моя Ляля, – сказал я ласково, – то, что ты хотела иметь! Кстати, я взял билеты в оперу. Мы пойдем, хочешь? Я знаю, это доставит тебе удовольствие»... Она взяла коробку, бросила ее в угол и, упавши ничком на диван, зарыдала. «Поезжайте, – сказала она, – к вашей Ляле и отдайте ей эту дрянь. Кстати, с ней же можете прослушать ту отвратительную оперную какофонию, которую я так ненавижу». «Маруся, – сказал я, – это недоразумение!»... «Конечно, – закричала она, – недоразумение, потому что я с детства – не Маруся, а Соня! Уходите отсюда!» От нее я поехал к Елене Николаевне... Забыл снять кольцо, которое обещал ей уничтожить, привез засахаренные каштаны, от которых ее тошнит и которые, по ее словам, так любит ее подруга Китти... Спросил у нее: «Почему у моей Китти такие печальные глазки?..», лепетал, растерявшись, что-то о том, что Китти – это производное от слова «спать» и, изгнанный, помчался к Китти спасать обломки своего благополучия. У Китти были гости... Я отвел ее за портьеру и, по своему обыкновению, поцеловал в

ухо, отчего произошел крик, шум и тяжелый скандал. Только после я вспомнил, что для нее это хуже острого ножа... Ухо-то. Ежели его поцеловать...

– А остальные? – тихо спросил я.

– Остались двое: Маруся и Дуся. Но это – ничто. Или почти ничто. Я понимаю, что можно быть счастливым с целой гармоничной женщиной, но если эту женщину разрезают на куски, дают тебе только ноги, волосы, пару голосовых связок и красивые уши – будешь ли ты любить эти разрозненные мертвые куски?.. Где же женщина? Где гармония?

– Как так? – вскричал я.

– Да так... Из моего идеала остались теперь две крохотных ножки, волосы (Дуся) да хороший голос с парой прекрасных, сводивших меня с ума ушей (Маруся). Вот и все.

– Что же ты теперь думаешь делать?

– Что?

В глазах его засветился огонек надежды.

– Что? Скажи, милый, с кем ты был позавчера в театре? Такая высокая, с чудесными глазами и прекрасной, гибкой фигурой.

Я призадумался.

– Кто?.. Ах да! Это я был со своей кузиной. Жена инспектора страхового общества.

– Милый! Познакомь!

Четверо

I

В купе второго класса курьерского поезда ехало трое: чиновник казенной палаты Четвероруков, его молодая жена – Симочка и представитель фирмы «Эванс и Крумбель» – Василий Абрамович Сандомирский...

А на одной из остановок к ним в купе подсел незнакомец в косматом пальто и дорожной шапочке. Он внимательно оглядел супругов Четвероруковых, представителя фирмы «Эванс и Крумбель» и, вынув газету, погрузился в чтение.

Особенная – дорожная – скука повисла над всеми. Четвероруков вертел в руках портсигар, Симочка постукивала каблучками и переводила рассеянный взгляд с незначительной физиономии Сандомирского на подсевшего к ним незнакомца, а Сандомирский в десятый раз перелистывал скверный юмористический журнал, в котором он прочел все, вплоть до фамилии типографщика и приема подписки.

– Нам еще ехать пять часов, – сказала Симочка, сладко зевая. – Пять часов отчаянной скуки!

– Езда на железных дорогах однообразна, чем и утомляет пассажиров, – наставительно отвечал муж.

А Сандомирский сказал:

– И железные дороги невыносимо дорого стоят. Вы подумайте: какой-нибудь билет стоит двенадцать рублей.

И, пересмотрев еще раз свой юмористический журнал, добавил:

– Уже я не говорю о плацкарте!

– Главное, что скучно! – стукнула ботинком Симочка.

Сидевший у дверей незнакомец сложил газету, обвел снова всю компанию странным взглядом и засмеялся.

И смех его был странный, клокочущий, придушенный, и последующие слова его несказанно всех удивили.

– Вам скучно? Я знаю, отчего происходит скука... От того, что все вы – не те, которыми притворяетесь, а это ужасно скучно.

– То есть как мы не те? – обиженно возразил Сандомирский. – Мы вовсе – те. Я, как человек интеллигентный...

Незнакомец улыбнулся и сказал:

– Мы все не те, которыми притворяемся. Вот вы – кто вы такой?

– Я? – поднял брови Сандомирский. – Я представитель фирмы «Эванс и Крумбель», сукна, трико и бумазеи.

– Ах-ха-ха-ха! – закатился смехом незнакомец. – Так я и знал, что вы придумаете самое нелепое! Ну, зачем же вы лжете себе и другим? Ведь вы кардинал при папском дворе в Ватикане и нарочно прячетесь под личиной какого-то Крумбея!

– Ватикан? – пролепетал испуганный и удивленный Сан-

домирский. – Я Ватикан?

– Не Ватикан, а кардинал! Не притворяйтесь дураком. Я знаю, что вы одна из умнейших и хитрейших личностей современности! Я слышал кое-что о вас!

– Извините, – сказал Сандомирский. – Но эти шутки мне не надо!

II

– Джузеппе! – серьезно проворчал незнакомец, кладя обе руки на плечи представителя фирмы «Эванс и Крумбель». – Ты меня не обманешь! Вместо глупых разговоров я бы хотел послушать от тебя что-нибудь о Ватикане, о тамошних порядках и о твоих успехах среди набожных знатных итальянок...

– Пустите меня! – в ужасе закричал Сандомирский. – Что это такое?!

– Тссс! – зашипел незнакомец, закрывая ладонью рот коммивояжера. – Не надо кричать. Здесь дама.

Он сел на свое место у дверей, потом засунул руку в карман и, вынув револьвер, навел его на Сандомирского.

– Джузеппе! Я человек предобрый, но если около меня сидит притворщик, я этого не переносу!

Симочка ахнула и откинулась в самый угол. Четвероруков поерзал на диване, попытался встать, но решительный жест незнакомца пригвоздил его к месту.

– Господа! – сказал странный пассажир. – Я вам ничего дурного не делаю. Будьте спокойны. Я только требую от этого человека, чтобы он признался – кто он такой?

– Я Сандомирский! – прошептал белыми губами коммивояжер.

– Лжешь, Джузеппе! Ты кардинал.

Дуло револьвера смотрело на Сандомирского одиноким черным глазом.

Четвероруков испуганно покосился на незнакомца и шепнул Сандомирскому:

– Вы видите, с кем вы имеете дело... Скажите ему, что вы кардинал. Что вам стоит?

– Я же не кардинал!! – в отчаянии прошептал Сандомирский.

– Он стесняется сказать вам, что он кардинал, – заискивающе обратился к незнакомому господину Четвероруков. – Но, вероятно, он кардинал.

– Не правда ли?! – подхватил незнакомец. – Вы не находите, что в его лице есть что-то кардинальное?

– Есть! – с готовностью отвечал Четвероруков. – Но... стоит ли вам так волноваться из-за этого?..

– Пусть он скажет! – капризно потребовал пассажир, играя револьвером.

– Ну, хорошо! – закричал Сандомирский. – Хорошо! Ну, я кардинал.

III

– Видите! – сделал незнакомец торжествующий жест. – Я вам говорил... Все люди не те, кем они кажутся! Благословите меня, ваше преподобие!

Коммивояжер нерешительно пожал плечами, протянул обе руки и помахал ими над головой незнакомца.

Симочка фыркнула.

– При чем тут смех? – обиделся Сандомирский. – Позвольте мне, господин, на минутку выйти.

– Нет, я вас не пущу, – сказал пассажир. – Я хочу, чтобы вы нам рассказали о какой-нибудь забавной интрижке с вашими прихожанками.

– Какие прихожанки? Какая может быть интриж...?!

При взгляде на револьвер коммивояжер понизил голос и уныло сказал:

– Ну, были интрижки, – стоит об этом говорить...

– Говорите!! – бешено закричал незнакомец.

– Уберите ваш пистолет – тогда расскажу. Ну, что вам рассказать... Однажды в меня влюбилась одна итальянская дама...

– Графиня? – спросил пассажир.

– Ну, графиня. «Вася, – говорит, – я тебя так люблю, что ужас». Целовались.

– Нет, вы подробнее... Где вы с ней встретились и как

впервые возникло в вас это чувство?..

Представитель фирмы «Эванс и Крумбель» наморщил лоб и, взглянув с тоской на Четверорукова, продолжал:

– Она была на балу. Такое белое платье с розами. Нас познакомил посланник какой-то. Я говорю: «Ой, графиня, какая вы хорошень..!»

– Что вы путаете, – сурово перебил пассажир. – Разве можно вам, духовному лицу, быть на балу?

– Ну, какой это бал! Маленькая домашняя вечеринка. Она мне говорит: «Джузеппе, я несчастна! Я хотела бы перед вами причаститься».

– Исповедаться! – поправил незнакомец.

– Ну, исповедаться. «Хорошо, – говорю я. – Приезжайте». А она приехала и говорит: «Джузеппе, извините меня, но я вас люблю».

– Ужасно глупый роман! – бесцеремонно заявил незнакомец. – Ваши соседи выслушали его без всякого интереса. Если у папы все такие кардиналы, я ему не завидую!

IV

Он благосклонно взглянул на Четверорукова и вежливо сказал:

– Я не понимаю, как вы можете оставлять вашу жену скучающей, когда у вас есть такой прекрасный дар...

Четвероруков побледнел и робко спросил:

– Ка...кой д-дар?

– Господи! Да пение же! Ведь вы хитрец! Думаете, если около вас висит форменная фуражка, так уж никто и не догадается, что вы знаменитый баритон, пожинавший такие лавры в столицах?..

– Вы ошиблись, – насильственно улыбнулся Четвероруков. – Я чиновник Четвероруков, а это моя жена Симочка.

– Кардинал! – воскликнул незнакомец, переведя дуло револьвера на чиновника. – Как ты думаешь, кто он: чиновник или знаменитый баритон?

Сандомирский злорадно взглянул на Четверорукова и, пожав плечами, сказал:

– Наверное, баритон!

– Видите! Устами кардиналов глаголет истина. Спойте что-нибудь, маэстро! Я вас умоляю.

– Я не умею! – беспомощно пролепетал Четвероруков. – Уверяю вас, у меня голос противный, скрипучий!

– Ах-хах-ха! – засмеялся незнакомец. – Скромность истинного таланта! Прошу вас – пойте!

– Уверяю вас...

– Пойте! Пойте, черт возьми!!!

Четвероруков конфузливо взглянул на нахмуренное лицо жены и, спрятав руки в карманы, робко и фальшиво запел:

По синим волнам океана,

Лишь звезды блеснут в небесах...

Подперев голову рукой, незнакомец внимательно, с интересом, слушал пение. Время от времени он подщелкивал пальцами и подпевал.

– Хорошо поете! Тысяч шесть получаете? Наверное, больше! Знаете, что там ни говори, а музыка смягчает нравы. Не правда ли, кардинал?

– Еще как! – нерешительно сказал Сандомирский.

– Вот видите, господа! Едва вы перестали притворяться, стали сами собою, как настроение ваше улучшилось и скуки как не бывало. Ведь вы не скучаете?

– Какая тут скука! – вздохнул представитель фирмы «Эванс и Крумбель». – Сплошное веселье.

– Я очень рад. Я замечаю, сударыня, что и ваше личико изменило свое выражение. Самое ужасное в жизни, господа, это фальшь, притворство. И если смело, энергично за это взяться – все фальшивое и притворное рассеется. Ведь вы раньше считали, вероятно, этого господина коммивояжером, а вашего мужа чиновником. Считали, может быть, всю жизнь... А я в два приема снял с них личину. Один оказался кардиналом, другой – баритоном. Не правда ли, кардинал?

– Вы говорите, как какая-нибудь книга, – печально сказал Сандомирский.

– И самое ужасное, что ложь во всем. Она окружает нас с пеленок, сопровождает на каждом шагу, мы ею дышим, но-

сим ее на своем лице, на теле. Вот, сударыня, вы одеты в светлое платье, корсет и ботинки с высокими каблуками. Я ненавижу все лживое, обманчивое. Сударыня! Осмелюсь почтительнейше попросить вас – снимите платье! Оно скрывает прекраснейшее, что есть в природе, – тело!

Странный пассажир галантно направил револьвер на мужа Симочки и, глядя на нее в упор, мягко продолжал:

– Будьте добры раздеться... Ведь ваш супруг ничего не будет иметь против этого?..

Супруг Симочки взглянул потускневшими глазами на дуло револьвера и, стуча зубами, отвечал:

– Я... нич-чего... Я сам люб-блю красоту. Немножко раздеться можно, хе, хе...

Глаза Симочки метали молнии. Она с отвращением посмотрела на бледного Четверорукова, на притихшего Сандомирского, энергично вскочила и сказала, истерически смеясь:

– Я тоже люблю красоту и ненавижу трусость. Я для вас разденусь! Прикажите только вашему кардиналу отвернуться.

– Кардинал! – строго сказал незнакомец. – Вам, как духовному лицу, нельзя смотреть на сцену сцен. Закройтесь газетой!

– Симочка... – пролепетал Четвероруков. – Ты... немножко.

– Отстань, без тебя знаю!

Она расстегнула лиф, спустила юбку и, ни на кого не смотря, продолжала раздеваться, бледная, с нахмуренными бровями.

– Не правда ли, я интересная? – задорно сказала она, улыбаясь углами рта. – Если вы желаете меня поцеловать, можете попросить разрешения у мужа – он, вероятно, позволит.

– Баритон! Разреши мне почтительнейше прикоснуться к одной из лучших женщин, которых я знал. Многие считают меня ненормальным, но я разбираюсь в людях!

Четвероруков, молча, с прыгающей нижней челюстью и ужасом в глазах, смотрел на страшного пассажира.

– Сударыня! Он, очевидно, ничего не имеет против. Я почтительнейше поцелую вашу руку...

Поезд замедлял ход, подходя к вокзалу большого губернского города.

– Зачем же руку? – болезненно улыбнулась Симочка. – Мы просто поцелуемся! Ведь я вам нравлюсь?

Незнакомец посмотрел на ее стройные ноги в черных чулках, обнаженные руки и воскликнул:

– Я буду счастлив!

Не сводя с мужа пылающего взгляда, Симочка обняла голыми руками незнакомца и крепко его поцеловала.

Поезд остановился.

Незнакомец поцеловал Симочкину руку, забрал свои вещи и сказал:

– Вы, кардинал, и вы, баритон! Поезд стоит здесь пять ми-

нут. Эти пять минут я тоже буду стоять на перроне с револьвером в кармане. Если кто-нибудь из вас выйдет – я застрелю того. Ладно?

– Идите уж себе! – простонал Сандомирский.

Когда поезд двинулся, дверцы купе приоткрылись, и в отверстие просунулась рука кондуктора с запиской.

Четвероруков взял ее и с недоумением прочел:

«Сознайтесь, что мы не проскучали... Этот оригинальный, но действенный способ сокращать дорожное время имеет еще то преимущество, что всякий показывает себя в натуральную величину. Нас было четверо: дурак, трус, мужественная женщина и я – весельчак, душа общества. Баритон! Поцелуйте от меня кардинала...»

Ложь

Трудно понять китайцев и женщин.

Я знал китайцев, которые два-три года терпеливо просили живали над кусочком слоновой кости величиной с орех. Из этого бесформенного куска китаец с помощью целой армии крохотных ножичков и пилочек вырезывал корабль – чудо хитроумия и терпения: корабль имел все снасти, паруса, нес на себе соответствующее количество команды, причем каждый из матросов был величиной с маковое зерно, а канаты были так тонки, что даже не отбрасывали тени – и все это было ни к чему... Не говоря уже о том, что на таком судне

нельзя было сделать самой незначительной поездки – сам корабль был настолько хрупок и непрочен, что одно легкое нажатие ладони уничтожало сатанинский труд глупого китайца.

Женская ложь часто напоминает мне китайский корабль величиной с орех – масса терпения, хитрости – и все это совершенно бесцельно, безрезультатно, все гибнет от простого прикосновения.

* * *

Чтение пьесы было назначено в 12 часов ночи.

Я приехал немного раньше и, куря сигару, убивал ленивое время в болтовне с хозяином дома адвокатом Лязговым.

Вскоре после меня в кабинет, где мы сидели, влетела розовая, оживленная жена Лязгова, которую час тому назад я мельком видел в театре сидящей рядом с нашей общей знакомой Таней Черножуковой.

– Что же это, – весело вскричала жена Лязгова. – Около двенадцати, а публики еще нет?!

– Подойдут, – сказал Лязгов. – Откуда ты, Симочка?

– Я... была на катке, что на Бассейной, с сестрой Тарского.

Медленно, осторожно повернулся я в кресле и посмотрел в лицо Серафимы Петровны.

Зачем она солгала? Что это значит?

Я задумался.

Зачем она солгала? Трудно предположить, что здесь был замешан любовник... В театре она все время сидела с Таней Черножуковой и из театра, судя по времени, прямо поехала домой. Значит, она хотела скрыть или свое пребывание в театре, или – встречу с Таней Черножуковой.

Тут же я вспомнил, что Лязгов раза два-три при мне просил жену реже встречаться с Черножуковой, которая, по его словам, была глупой, напыщенной дурой и имела на жену дурное влияние... И тут же я подивился: какая пустяковая, ничтожная причина может иногда заставить женщину солгать...

* * *

Приехал студент Конякин. Поздоровавшись с нами, он обернулся к жене Лязгова и спросил:

– Ну, как сегодняшняя пьеса в театре... Интересна?

Серафима Петровна удивленно вскинула плечами.

– С чего вы взяли, что я знаю об этом? Я же не была в театре.

– Как же не были? А я заезжал к Черножуковым – мне сказали, что вы с Татьяной Викторовной уехали в театр.

Серафима Петровна опустила голову и, разглаживая юбку на коленях, усмехнулась:

– В таком случае я не виновата, что Таня такая глупая; когда она уезжала из дому, то могла солгать как-нибудь иначе.

Лязгов, заинтересованный, взглянул на жену.

– Почему она должна была солгать?

– Неужели ты не догадываешься? Наверное, поехала к своему поэту!

Студент Конякин живо обернулся к Серафиме Петровне.

– К поэту? К Гагарову? Но этого не может быть! Гагаров на днях уехал в Москву, и я сам его провожал.

Серафима Петровна упрямо качнула головой и, с видом человека, прыгающего в пропасть, сказала:

– А он все-таки здесь!

– Не понимаю... – пожал плечами студент Конякин. – Мы с Гагаровым друзья, и он, если бы вернулся, первым долгом известил бы меня.

– Он, кажется, скрывается, – постукивая носком ботинка о ковер, сообщила Серафима Петровна. – За ним следят.

Последняя фраза, очевидно, была сказана просто так, чтобы прекратить скользкий разговор о Гагарове.

Но студент Конякин беспокоился.

– Следят??! Кто следит?

– Эти, вот... Сыщики.

– Позвольте, Серафима Петровна... Вы говорите что-то странное: с какой стати сыщикам следить за Гагаровым, когда он не революционер и политикой никогда не занимался?!

Серафима Петровна окинула студента враждебным взглядом и, проведя языком по запекшимся губам, отдельно ответила:

– Не занимался, а теперь занимается. Впрочем, что мы все: Гагаров да Гагаров. Хотите, господа, чаю?

* * *

Пришел еще один гость – газетный рецензент Блюхин.

– Мороз, – заявил он, – а хорошо! Холодно до гадости. Я сейчас часа два на коньках катался. Прекрасный на Бассейной каток.

– А жена тоже сейчас только оттуда, – прихлебывая чай из стакана, сообщил Лязгов. – Встретились?

– Что вы говорите?! – изумился Блюхин. – Я все время катался и вас, Серафима Петровна, не видел.

Серафима Петровна улыбнулась.

– Однако я там была. С Марьей Александровной Шемшуриной.

– Удивительно... Ни вас, ни ее я не видел. Это тем более странно, что каток ведь крошечный – все как на ладони.

– Мы больше сидели все... около музыки, – сказала Серафима Петровна. – У меня винт на коньке расшатался.

– Ах, так! Хотите, я вам сейчас исправлю? Я мастер на эти дела. Где он у вас?

Нога нервно застучала по ковру.

– Я уже отдала его слесарю.

– Как же это ты ухитрилась отдать слесарю, когда теперь

ночь? – спросил Лязгов.

Серафима Петровна рассердилась.

– Так и отдала! Что ты пристал? Слесарная, по случаю срочной работы, была открыта. Я и отдала. Слесаря Матвеем зовут.

* * *

Наконец явился давно ожидаемый драматург Селиванский с пьесой, свернутой в трубку и перевязанной ленточкой.

– Извиняюсь, что опоздал, – раскланялся он. – Задержал прекрасный пол.

– На драматурга большой спрос, – улыбнулся Лязгов. – Кто же это тебя задержал?

– Шемшурина, Марья Александровна. Читал ей пьесу. Лязгов захлопал в ладоши.

– Соврал, соврал драматург! Драматург скрывает свои любовные похождения! Никакой Шемшуриной ты не мог читать пьесу!

– Как не читал? – обводя компанию недоуменным, подозрительным взглядом, вскричал Селиванский. – Читал! Именно ей читал.

– Ха-ха! – засмеялся Лязгов. – Скажи же ему, Симочка, что он попался с поличным: ведь Шемшурина была с тобой на катке.

– Да, она со мной была, – кивнула головой Серафима Петровна, осматривая всех нас холодным взглядом,

– Когда?! Я с половины девятого до двенадцати сидел у нее и читал свою «Комету».

– Вы что-нибудь спутали, – пожала плечами Серафима Петровна.

– Что? Что я мог спутать? Часы я мог спутать, Шемшурину мог спутать с кем-нибудь или свою пьесу с отрывным календарем?! Как так – спутать?

– Хотите чаю? – предложила Серафима Петровна.

– Да нет, разберемся: когда Шемшурина была с вами на катке?

– Часов в десять, одиннадцать.

Драматург всплеснул руками.

– Так поздравляю вас: в это самое время я читал ей дома пьесу.

Серафима Петровна подняла язвительно одну бровь:

– Да? Может быть, на свете существуют две Шемшуриных? Или я незнакомую даму приняла за Марию Александровну? Или, может, я была на катке вчера... Ха-ха!..

– Ничего не понимаю! – изумился Селиванский.

– То-то и оно, – засмеялась Серафима Петровна. – То-то и оно! Ах, Селиванский, Селиванский...

Селиванский пожал плечами и стал разворачивать рукопись.

Когда мы переходили в гостиную, я задержался на минуту

в кабинете и, сделав рукой знак Серафиме Петровне, остался с ней наедине.

– Вы сегодня были на катке? – спросил я равнодушно.

– Да. С Шемшуриной.

– А я вас в театре сегодня видел. С Таней Черножуковой.

Она вспыхнула.

– Не может быть. Что же, я лгу, что ли?

– Конечно, лжете. Я вас прекрасно видел.

– Вы приняли за меня кого-нибудь другого...

– Нет. Вы лжете неумело, впутываете массу лиц, попадаетесь и опять нагромождаете одну ложь на другую... Для чего вы солгали мужу о катке?

Ее нога застучала по ковру.

– Он не любит, когда я встречаюсь с Таней.

– А я сейчас пойду и скажу всем, что видел вас с Таней в театре.

Она схватила меня за руку, испуганная, с трясущимися губами.

– Вы этого не сделаете?!

– Отчего же не сделать?.. Сделаю!

– Ну, милый, ну, хороший... Вы не скажете... да? Ведь не скажете?

– Скажу.

Она вскинула свои руки мне на плечи, крепко поцеловала меня и, прижимаясь, прерывисто прошептала:

– А теперь не скажете? Нет?

После чтения драмы – ужинали.

Серафима Петровна все время упорно избегала моего взгляда и держалась около мужа.

Среди разговора она спросила его:

– А где ты был сегодня вечером? Тебя ведь не было с трех часов.

Я с любопытством ждал ответа. Лязгов, когда мы были вдвоем в кабинете, откровенно рассказал мне, что этот день он провел довольно беспутно: из Одессы к нему приехала знакомая француженка, кафешантанная певица, с которой он обедал у Контана, в кабинете; после обеда катались на автомобиле, потом он был у нее в «Гранд-отеле», а вечером завез ее в «Буфф», где и оставил.

– Где ты был сегодня?

Лязгов обернулся к жене и, подумав несколько секунд, ответил:

– Я был у Контана. Обедали. Один клиент из Одессы с женой француженкой и я. Потом я заехал за моей доверительницей по усачевскому делу, и мы разъезжали в ее автомобиле – она очень богатая – по делу об освобождении имения от описи. Затем я был в «Гранд-отеле» у одного помещика, а вечером заехал на минутку в «Буфф» повидаться с знакомым. Вот и все.

Я улыбнулся про себя и подумал:
«Да. Вот это ложь!»

Круги по воде

Граждане

...Матушка! Матушка! Пожалей своего бедного сына.
Гоголь

I

Хозяин дома Хохряков сидел, склонив голову набок, и слушал...

– Нет, это что, – говорил один из гостей. – А вы помните студента Ивкова, которого в прошлом году арестовали?.. Оказывается, этажом ошиблись. Правда, через три дня выпустили...

– Что ваш Ивков! Мою знакомую барышню Матусевич в Харькове выслали из города за то, что она не знала галантерейного приказчика Файнберга.

– Как так? – лениво спросил один из гостей.

– Очень просто. Изловили за какие-то книжки Файнберга, а потом спросили вскользь: «Не знаете курсистки Матусевич?» – «Не помню. Впрочем, фамилия знакомая». Тогда вызывают Матусевич. «Не знаете ли приказчика Файнбер-

га?» – «Не помню. Впрочем, фамилия незнакомая...» Ага! Явное противоречие! Он говорит – знакомая, она говорит – незнакомая...

– Ну?

– Вот вам и «ну»!

– Это что! – сказал тот гость, который уже рассказывал об Ивкове. – В Севастополе одному книгопродавцу грозили каторжные работы за то, что у какого-то человека при обыске нашли записочку: «Явка к книгопродавцу такому-то. Получишь 500 рублей. Пароль – Александр». А тот – ни сном ни духом! Насилу адвокат отстоял.

– Страшно! – сказал Хохряков.

Все удивленно оглянулись на него.

– Чего вам страшно?

– Ничего... Пойдем, господа, ужинать.

Гости поужинали и, рассказав еще пару-другую забавных случаев, разошлись...

Хохряков остался один.

Подойдя к письменному столу в кабинете, он увидел приклоненное к свече письмо с заграничным штемпелем и с адресом, написанным рукой его друга Плясовицкого. Распечатал, прочел:

«Дружище Хохряков! Я в Швейцарии, классической, как говорится, стране свободы. Ах, свобода, свобода!.. Помнишь, как мы ходили с тобой в девятьсот пятом году, начи-

ненные трескучими прокламациями, как колбасы... Ты тогда еще толковал об активной работе и на две ночи дал приют какому-то заблудшему эсдеку, а я пожертвовал на организацию милиции одиннадцать рублей... Смех, как вспомнишь! Воздух здесь чудный и гор...»

Губы Хохрякова побелели.

Он скомкал письмо, бросил его в корзину и прошептал, дрожа всем телом:

– Он... сумасшедший...

Направился к себе в спальню, но сейчас же вернулся, отыскал в корзине скомканное письмо из Швейцарии, порвал его на мелкие кусочки, перемешал их, после чего, потоптавшись по кабинету, отправился спать.

Спал он беспокойно. Забылся к утру, но и утром помешали... Из шкапа вылез неизвестный старик с белой бородой, побряцал какими-то штуками, надетыми на руки, покачал головой и, сказав Хохрякову внушительно: «Кусочки, бывает, и склеивают», снова уполз в шкап – постоянное, как решил Хохряков, его местопребывание...

Было восемь часов утра.

Хохряков вскрикнул, спрыгнул с кровати, побежал в кабинет и заглянул в корзину. Она была пуста.

– Свершилось! – подумал Хохряков и скрипнул зубами.

II

Слуга Викентий, суется по кабинету, стирает пыль с мебели, а Хохряков смотрел на него из спальни в замочную скважину и думал:

«Большое самообладание. Отметим... Издалека к тебе не подойдешь... Нужно или следить за тобой – или огорошить сразу. Поборемся, поборемся».

Странно: ужаса, страха перед будущим пока не ощущалось...

Даже какая-то бодрость и предприимчивость вливалась в усталый от дум и тревог мозг.

Хохряков распахнул внезапно дверь и, стараясь, чтобы не задрожал голос, спросил:

– Как погода?

– Солнечно, – отвечал, повернувшись, Викентий.

«Солнечно? – мысленно прищурился Хохряков. – А письмо где? А швейцарские кусочки куда дел?»

Вслух спросил:

– Скоро кончишь уборку?

– Сейчас.

– А из корзины выбросил сор?

– Выбросил.

«О-о, – подумал, нервничая, Хохряков. – Ты, милый мой, опаснее, чем я думал. Ишь ты, ишь ты! Ни один мускул, ни

одна жилка не задрожала. А? Это что? Губы? Губы-то и поджал, губы и поджал... На губах и попался... Хе-хе! Ага! А ведь пустяк...»

Хохряков прошелся по кабинету и, равнодушно смотря в окно, тихо уронил:

– Кусочки все были?

– Как-с?

– Небось, с подбором повозился...

– Чего-с?

Хохряков нагнулся к нему и взял за плечо:

– А там-то, там... Хорошо поблагодарили? Есть на молочишко?.. Знаем-с! Не проведешь.

Викентий странно посмотрел на него и, отвернувшись к креслу, спросил:

– Чай сюда подать прикажете?

– Сюда! – напряженно засмеялся Хохряков. – А к чаю дай мне... швейцарского шоколада. Дашь, милый?

– Слушаю-с, – сказал Викентий и выбежал из кабинета.

Когда Хохряков остался один – силы его покинули. Он опустился в кресло и, стирая пот со лба, прошептал:

– Хорошо владеете собой, Викентий Ильич! Пре-красное само-обла-дание... Это и понятно! Барина своего с нервами не продашь. Хе-хе! Ну, да мы-то поборемся!

III

Викентий действительно прекрасно владел собой...

На другой день Хохряков после разговора о погоде в упор спросил его:

– Что, если бы я случайно разорвал письмо – ты мог бы подобрать обрывки и склеить?

Викентий скользнул по Хохрякову взглядом и сказал:

– Попробую.

– Так, так... (Не вздрогнул даже! Не пошевелился!) Я, знаешь, голубчик Викентий... Что, наш участок – далеко отсюда?

Хохряков наклонился к лицу Викентия и громко, хрипло дыша, вонзился в него взглядом.

– На том квартале. На углу.

– Ага! Прекрасно! Я пойду сегодня в участок – потолковать с приставом. Хе-хе! Понимаешь, милуша Викентий, потолковать...

– О чем-с? – спросил Викентий, переступая с ноги на ногу.

«Ага! Вот оно! Заинтересовался парень. Не выдержало ретивое... А вот мы вас...»

Хохряков помедлил.

– О чем? О Швейцарии. Об эсдеках... О письмах, чудесно воскресающих... Что ты так на меня смотришь?! Понял? Понял?

Хохряков пронзительно крикнул и, оттолкнув Викентия, выбежал из комнаты.

По дороге в участок Хохряков криво улыбался и думал: «Я даже знаю, что произойдет... Я приду пощупать почву, только пощупаю ее, матушку! Но произойдет сцена в участке из «Преступления и наказания» Достоевского... Ха-ха... Поборемся, Порфирий, поборемся!!»

Когда Хохряков вошел в приемную, он увидел стоящего у дверей пристава, который распекал оборванного простолюдина.

– Ты говоришь, подлец, что золотые часы купил? Ты? Ты? Ты их мог купить?!

– Да и купил, – возражал простолюдин. – Захотел узнать, который час, – и купил.

Пристав мельком взглянул на вошедшего Хохрякова и обратился к оборванцу:

– Ведь часы ты украл! Где ты мог взять 200 рублей? Ну? Ну?

– Нашел, ваше благородие... В уголочку лежали.

Хохряков приблизился к приставу и внушительно, серьезно глядя в его глаза, прошептал:

– Я Хохряков.

– Хорошо. Потрудитесь обождать.

«Эге, – болезненно покривился про себя Хохряков. – Да и ты, брат, я вижу, дока!.. И ты нервы свои, чтоб не разгулялись, в карман прячешь. О-о... Ну что ж – походим... Похо-

дим друг около друга».

– В уголочку лежали? Просто украл ты их, и больше ничего!

«Ошеломил я его, – внутренне усмехнулся Хохряков. – Наверное, втайне прийти в себя не может... Понимаем-с! На оборванце успокаивается, а сам про себя думает: «Зачем Хохряков сам объявился? Извещения ему еще не было?» Нет, брат. А Хохряков-то и пришел. Хохряков сам с усам».

Пристав подошел к Хохрякову и, рассматривая какую-то бумагу, спросил:

– Чем могу служить?

– Насчет Швейцарии я...

– Какой Швейцарии?

«Хладнокровничаешь? – подумал Хохряков. – А зачем головы не поднимаешь? Голос мой изучить тебе хочется, повадки... Просты уж больно ваши хитрости, господин пристав!»

– В Швейцарию хочу ехать. Зашел узнать, как можно в наикратчайший срок получить заграничный паспорт...

– Это нужно через градоначальство, – пожал плечами пристав.

Хохряков стал нервничать. Хладнокровие противника повергло его в дрожь и неизведанный еще страх...

Он встал и резко сказал:

– Прощайте, ваше благородие... Поклон вам от Викентия Карпикова... Хе-хе!

– Какого... Карпикова?

– Знаете что, господин пристав, – серьезно сказал Хохряков, наклоняясь вперед. – Бросим все эти штуки, уловки, будем говорить, как два умных человека: когда?

– Что – когда? Что с вами?

– Когда меня возьмете? – покорно прошептал Хохряков.

– Куда?!!

– Хе-хе... Кусочки как подклеивали? На прозрачную кальку? Чтоб обратную сторону можно было прочесть? А Викентий молодец! Твердокаменный!.. Я – и так, и этак...

Пристав внимательно глядел на Хохрякова и наконец ласково засуетился.

– Сейчас, сейчас... Вы позволите мне, господин Хохряков, поехать с вами домой? Вы недалеко живете?

– Кусочков не хватает? – бледно улыбнулся Хохряков. – Ищите... Все равно. Мне теперь уже все равно... Ищите! Всюду ищите! Мучители мои! Кровопийцы! Инквизиторы... Сибирь? Давайте ее, вашу Сибирь... Лучше Сибирь, чем так... Душу? Душу мою вы вынули за эти два дня – так Сибирью ли вам запугать меня?!

Он обрушился на стол и затрясся от долго сдерживаемых рыданий.

– Ефремов! – сказал пристав, придерживая голову Хохрякова. – Позвони семнадцать ноль восемь: карету и двух слугителей!.. Успокойтесь, господин Хохряков... Мы все это разберем и сейчас же отвезем вас в Швейцарию... Не плачь-

те... Хорошо там будет, тепло...

– Суда не надо, – попросил, вздрагивая нижней челюстью, Хохряков. – Не правда ли? Зачем суд? Прямо и отправляйте.

– О, конечно, – согласился поспешно пристав. – Конечно. Прямо и отправим.

– Прямо и отправляйте. Зачем еще мучить?

Карета увозила Хохрякова. Полузакрыв глаза, он изредка судорожно всхлипывал и повторял:

– Бедные мы, русские! Бедные...

Чад

План у меня был такой: зайти в близлежащий ресторан, наскоро позавтракать, после завтрака прогуляться с полчасика по улице, потом поехать домой и до обеда засесть за работу. Кроме того, за час до обеда принять ванну, вздремнуть немного, а вечером поехать к другу, который в этот день праздновал какой-то свой юбилей. От друга – постараться вернуться пораньше, чтобы выспаться как следует и на следующее утро со свежими силами засесть за работу.

Так я и начал: забежал в маленький ресторан и, не снимая пальто, подошел к буфетной стойке.

Сзади меня послышался голос:

– Освежиться? На скорую руку?

Оглянувшись, я увидел моего юбилейного друга, сидев-

шего в углу за столиком в компании с театральным рецензентом Буйносовым.

Все мы обрадовались чрезвычайно.

– Я тоже зашел на минутку, – сообщил юбилейный друг. – И вот столкнулся с этим буйносым человеком. Садись с нами. Сейчас хорошо по рюмке хватить.

– Можно не снимая пальто?..

– Пожалуйста!

Юбияр налил три рюмки водки, но Буйносов схватил его за руку и решительно заявил:

– Мне не наливай. Мне еще рецензию на завтра писать нужно.

– Да выпей! Какая там еще рецензия...

– Нет, братцы, не могу. Мне вообще пить запретили. С почками неладно.

– Глупости, – сказал я, закусывая первую рюмку икрой. – Какие там еще почки?

– Молодец, Сережа! – похвалил меня юбилейный друг. – За что я тебя люблю: за то, что никогда ты от рюмки не откажешься.

Именно я и хотел отказаться от второй рюмки. Но друг с таким категорическим видом налил нам по второй, что я безропотно чокнулся и влил в себя вторую рюмку.

И сейчас же мне чрезвычайно захотелось, чтобы и Буйносов тоже выпил.

– Да выпей! – умоляюще протянул я. – Ну, что тебе стоит?

Ведь это свинство: мы пьем, а ты не пьешь!

– Почему же свинство? У меня почки...

– А у нас нет почек? А у юбиляра нет почек? У всякого человека есть почки. Это уж, брат, выше...

– Ну, я только одну...

– Не извиняйся! Можешь и две выпить.

Буйносов выпил первую, а мы по третьей.

Я обернулся направо и увидел свое лицо в зеркале. Внимательно всмотрелся и радостно подумал: «Какой я красивый!»

Волна большой радости залила мое сердце. Я почувствовал себя молодым, сильным, любимым друзьями и женщинами – и безудержная удаль и нежность к людям проснулась в душе моей.

Я ласково взглянул на юбиляра и сказал:

– Я хочу выпить за тебя. Чтобы ты дождался еще одного юбилея и чтобы мы были и тогда молоды так же, как теперь.

– Bravo! Спасибо, милый. Выпьем. Спасибо. Буйнос! Пей – не хами.

– Я не хам... хамлю, – осторожно произнес странное слово Буйносов. – А только мне нельзя. Рецензию нужно писать со свежей головой.

– Вздор! После напишешь.

– Когда же после... Ведь ее в четверть часа не напишешь.

– Ты?! – с радостным изумлением воскликнул юбилейный друг. – Да ты в десять минут отхватываешь такую рецензию,

что все охнут!

– Где там... – просиял сконфуженный Буйносов и, чтобы отплатить другу любезностью за любезность, выпил вторую рюмку.

– Ай да мы! Вот ты смотри: скромненький, скромненький, а ведь он потихонечку нас за пояс заткнет...

– А вы что же думали, – засмеялся Буйносов. – И заткну. Эх, пивали мы в прежнее время! Чертям тошно было! Э-э!.. Сережа, Сережа! А ты почему же свою не выпил?

– Я... сейчас, – смутился я, будто бы меня поймали на краже носового платка. – Дай ветчину прожевать.

– Не хами, Сережа, – сказал юбилейный друг. – Не задерживай чарки.

Я вспомнил о своей работе.

– Мне бы домой нужно... Дельце одно.

К моему удивлению, возмутился Буйносов:

– Какое там еще дельце? Вздор – дельце! А у меня дела нет?! А юбиляру на вечере хлопот мало? Посидим минутку. Черт с ним, с дельцем.

«А действительно, – подумал я, любуясь в зеркало на свои блестящие глаза. – Черт с ним, с дельцем!..»

Вслух сказал:

– Так я пальто сниму, что ли. А то жарко.

– Вот! Молодец! Хорошо, что не хамишь. Снимай пальто!

– ...И пива я бы кружку выпил...

– Вот! Так. Освежиться нужно.

Мы выпили по кружке пива и разнеженно посмотрели друг на друга.

– Сережа... милый... – сказал Буйносов. – Я так вас двух люблю, что черт с ней, с рецензией. Сережа! Стой! Я хочу выпить с тобой на «ты».

– Да ведь мы и так на «ты»! – засмеялся я.

– Э, черт. Действительно. Ну, давай на «вы» выпьем.

Затея показалась такой забавной, что мы решили привести ее в исполнение.

– Графинчик водки! – крикнул Буйносов.

– Водку? – удивился я. – После пива?

– Это освежает. Освежимся!

– Неужели водка освежить может? – удивился я.

– Еще как! Об этом даже где-то писали... Сгорание углеводов и желтков... Не помню.

– Обедать будете? – спросил слуга.

– Как? Разве уже... обед?..

– Да-с. Семь часов.

Я вспомнил, что потерял уже свою работу, небольшой сон и ванну. Сердце мое сжалось, но сейчас же я успокоился, вспомнив, что и Буйносов пропустил срочную рецензию. Никогда я не чувствовал так остро справедливости пословицы: «На миру и смерть красна».

– Семь часов?! – всплеснул руками юбиляр. – Черт возьми! А мой юбилей?

Буйносов сказал:

– Ну куда тебе спешить? Времени еще вагон. Посидим! Черт с ней, с рецензией.

– Да, брат... – поддержал и я. – Ты посиди с нами. На юбилей еще успеешь.

– Мне распорядиться нужно...

– Распорядись! Скажи, чтобы дали нам сейчас обед и белого винца.

Юбияр подмигнул:

– Вот! Идея... Освежает!

Лицо его неожиданно засияло ласковой улыбкой.

– Люблю молодцов. Люблю, когда не хамят.

Когда нам подали кофе и ликер, я бросил косой взгляд на Буйносова и сказал юбиляру:

– Слушай! Плюнь ты на сегодняшний юбилей. Ведь это пошлятина: соберутся идиоты, будут говорить тривиальности. Не надо! Посиди с нами. Жена твоя и одна управится.

– Да как же: юбилей, а юбиляра нет.

Буйносов задержался, заерзал на своем месте, засуетился:

– Это хорошо! Это-то и оригинально! Жизнь однообразна! Юбилеи однообразны! А это свежо, это молодо: юбилей идет своим чередом, а юбиляра нет. Где юбиляр? Да он променял общество тупиц на двух друзей... которые его искренне любят.

– Поцелуемся! – вскричал воодушевленно юбиляр. – Верно! Вот. Будем освежаться бенедиктином.

– Вот это яркий человек! Вот это порыв, – воодушевился

Буйносов. – В тебе есть что-то такое... большое, оригинальное. Правда, Сережа?

– Да... У него так мило выходит, когда он говорит: «Не хами!»

– Не хамите! – с готовностью сказал юбиляр. – Сейчас бы кюрассо был к месту.

– Почему?

– Освежает.

Я уже понимал всю беспочвенность и иллюзорность этого слова, но в нем было столько уюта, столько оправдания каждой новой рюмке, каждой перемене напитка, что кюрассо был признан единственным могущим освежить нас напитком...

– Извините, господа, сейчас гасим свет... Ресторан закрывается.

– Вздор! – сказал бывший юбиляр. – Не хами!

– Извините-с. Я сейчас счет подам.

– Ну, дай нам бутылку вина.

– Не могу-с. Буфет закрыт.

Буйносов поднял голову и воскликнул:

– Ах, черт! А мне ведь сегодня вечером нужно было в театр на премьеру...

– Завтра пойдешь. Ну, господа... Куда же мы? Теперь бы нужно освежиться.

В мою затуманенную голову давно уже просачивалась

мысль, что лучше всего – поехать домой и хоть отчасти выспаться.

Мы уже стояли на улице, осыпаемые липким снегом, и вопросительно поглядывали друг на друга.

Есть во всякой подвыпившей компании такой психологический момент, когда все смертельно надоедают друг другу и каждый жаждет уйти, убежать от пьяных друзей, приехать домой, принять ванну, очиститься от ресторанной пьяной грязи, от табачной копоти, переодеться и лечь в чистую, свежую постель, под толстое уютное одеяло... Но обыкновенно такой момент всеми упускается. Каждый думает, что его уход смертельно оскорбит, обездолит других, и поэтому все топчутся на месте, не зная, что еще устроить, какой еще предпринять шаг в глухую темную полночь.

Мы выжидательно обернули друг к другу усталые, истомленные попойкой лица.

– Пойдем ко мне, – неожиданно для себя предложил я. – У меня еще есть дома ликер и вино. Слугу можно заставить сварить кофе.

– Освежиться? – спросил юбиляр.

«Как попугай заладил, – с отвращением подумал я. – Хоть бы вы все сейчас провалились – ни капельки бы не огорчился. Все вы виноваты... Не встретить я вас – все было бы хорошо, и я сейчас бы уже спал».

Единственное, что меня утешало, это – что Буйносов не написал рецензии, не попал на премьеру в театр, а юбиляр

пропьянствовал свой юбилей.

— Ну, освежаться так освежаться, — со вздохом сказал юбиляр (ему, кажется, очень не хотелось идти ко мне), — к тебе так к тебе.

Мы повернули назад и побрели. Буйносов молча, безропотно шел за нами и тяжело сопел. Идти предстояло далеко, а извозчиков не было. Юбиляр шатался от усталости, но тем не менее в одном подходящем случае показал веселость своего нрава; именно: разбудил дремавшего ночного сторожа, погрозил ему пальцем, сказал знаменитое «Не хами!» — и с хохотом побежал за нами...

— Вот дурак, — шепнул я Буйносову. — Как так можно свой юбилей пропустить?

— Да уж... Не дал господь умишка человеку.

«А тебе, — подумал я, — влетит завтра от редактора... Покажет он, как рецензии не писать. Будет тебе здорово за то, что я пропустил сегодняшнюю работу и испортил завтрашнее утречко...»

Я долго возился в передней, пока зажег электричество и разбудил слугу. Буйносов опрокинул и разбил какую-то вазу, а юбиляр предупредил слугу, чтобы он вообще не хамил.

Было смертельно скучно и как-то особенно сонно... противно. Заварили кофе, но оно пахло мылом, а я, кроме того, залил пиджак ликером. Руки сделались липкими, но идти умыться было лень.

Юбиляр сейчас же заснул на новом плюшевом диване. Я

надеялся, что Буйносов последует его примеру (это развязало бы, по крайней мере, мне руки), но Буйносов сидел за-прокинув голову и молчаливо рассматривал потолок.

– Может, спать хочешь? – спросил я.

– Хочу, но удерживаюсь.

– Почему?

– Что же я за дурак: пил-пил, а теперь вдруг засну – хмель-то весь и выйдет. Лучше уж я посижу.

И он остался сидеть, неподвижный, как китайский идол, как сосуд, хранящий в себе драгоценную влагу, ни одна капля которой не должна быть потеряна.

– Ну, а я пойду спать, – сухо проворчал я.

Проснулись поздно.

Все смотрели друг на друга с еле скрываемым презрением, ненавистью, отвращением.

– Здорово вчера дрызнули, – сказал Буйносов, из которого уже, вероятно, улетучилась вся драгоценная влага.

– Сейчас бы хорошо освежиться!

Я сделал мину любезного хозяина, послал за закуской и вином. Уселись трое с помятыми лицами...

Ели лениво, неохотно, устало.

«Как они не понимают, что нужно сейчас же встать, уйти и не встречаться! Не встречаться по крайней мере дня три!!!»

По их лицам я видел, что они думают то же самое, но ничего нельзя было поделать: вино спаяло всех троих самым непостижимым, самым отвратительным образом...

Курильщики опиума

I

В комнате происходил разговор.

— У нас с тобой нет ни копейки денег, есть нечего и за квартиру не заплачено за два месяца.

Я сказал:

— Да.

— Мы вчера не ужинали, сегодня не пили утреннего чая и впереди нам не предстоит ничего хорошего.

Я подтвердил и это. Андерс погладил себя по небритой щеке и сказал:

— А между тем, есть способ жить припеваючи. Только противно.

— Убийство?

— Нет.

— Работа?

— Не совсем. Впрочем, это противно, как ежедневное занятие... А один день для курьеза попробуем... А?

— Попробуем. Что нужно делать?

— Пустяки. То же, что и я. Одевайся, пойдем на воздух.

— Хозяин остановит.

— Пусть!

Когда мы вышли из комнаты и зашагали по коридору, я старался прошмыгнуть незаметно, не делая шума, а Андерс, наоборот, бесстрашно ступал ногами, как лошадь.

В конце длиннейшего коридора нас нагнала юркая горничная.

– Господин Андерс, хозяин Григорий Григорыч очень просят вас зайти сейчас к ним.

– Свершилось! – прошептал я, прислонясь к стене.

– А-а... Очень кстати. С удовольствием. Пойдем, дружище.

Отвратительный старикашка, владелец меблированных комнат, помешанный на чистоте и тишине, встретил нас холодно:

– Извините, господа. По делу. Вероятно, в душе думаете: «Зачем мы понадобились этой старой скотине?»

Андерс укоризненно покачал головой и хладнокровно сказал:

– Мы все равно собирались сегодня зайти к вам.

В глазах старика сверкнула радость.

– Ну? Правда? В самом деле?

– Да... хотели вас искренно и горячо поблагодарить. Вы знаете, мне приходилось жить во многих меблированных комнатах, иногда очень дорогих и роскошных – но такой тишины, такой чистоты и порядка, я буду говорить откровенно: нигде не видел! Я каждый день спрашиваю его (Андерс указал на меня) – откуда Григорий Григорыч берет время

вести такое громадное, сложное предприятие?..

– Он меня действительно спрашивал, – подтвердил я. – А я ему, помнится, отвечал: «Не постигаю. Тут какое-то колдовство!»

– Да, – сказал старик с самодовольным хохотом. – Трудно соблюдать чистоту, тишину и порядок.

– Но вы их соблюдаете идеально!! – горячо вскричал Андерс. – Откуда такой такт, такое чутье!.. Помню, у вас в прошлом году жил один пьяница и один самоубийца. Что ж они, спрашивается, посмели нарушить тишину и порядок? Нет! Пьяница, когда его привозили друзья, не издавал ни одного звука, потому что был смертельно пьян, и, брошенный на постель, сейчас же бесшумно засыпал... А самоубийца – помните? – взял себе, потихоньку повесился и висел терпеливо, без криков и воплей, пока о нем не вспомнили на другой день.

– А ревнивые супруги! – подхватил я. – Помнишь их, Андерс? Когда она застала мужа с горничной – что было? Где крики? Где ссора и скандал? Ни звука! Просто взяла она горничную и с мягкой улыбкой выбросила в открытое окно. Правда, та сломала себе ногу, но...

– ...Но ведь это было на улице, – ревниво подхватил старикашка. – То, что на улице, к моему меблированному дому не относится...

– Конечно!! При чем вы тут? Мало ли кому придет охота ломать на улице ноги – касается это вас? Нет!

– Да... много вам нужно силы воли и твердости, чтобы вести так дело! Эта складочка у вас между бровями, характеризующая твердость и непреклонную волю...

– Вы, вероятно, в молодости были очень красивы?

– Да и теперь еще... – подмигнул Андерс. – Ой-ой!.. Если был бы я женат, подальше прятал бы от вас свою же... Ой, заболтались с вами! Извиняюсь, что отнял время. Пойдем, товарищ. Еще раз, дорогой Григорий Григорьич, приносим от имени всех квартирантов самые искренние, горячие... Пойдем!

Повеселевший старик проводил нас, приветственно размахивая дряхлыми руками. В коридоре нам опять встрети-лась горничная.

– Надя! – остановил ее Андерс. – Я хочу спросить у вас одну вещь. Скажите, что это за офицер был у вас вчера в гостях... Я видел – он выходил от вас...

Надя весело засмеялась.

– Это мой жених. Только он не офицер, а писарь... военный писарь... в штабе служит.

– Шутите! Совсем как офицер! И какой красавец... умное такое лицо... Вот что, Надичка... Дайте-ка нам на рубль мелочи. Извозчики, знаете... То да другое.

– Есть ли? – озабоченно сказала Надя, шаря в карманах. – Есть. Вот! А вы заметили, какие у него щеки? Розовые-розовые...

– Чудесные щеки! Прямо нечто изумительное. Пойдем.

Когда мы выходили из дому, я остановился около сидевшего у дверей за газетой швейцара и сказал:

– А вы все политикой занимаетесь? Как приятно видеть умного, интеллиг...

– Пойдем, – сказал Андерс. – Тут не надо... Не стоит...

– Не стоит так не стоит.

Я круто повернулся и покорно зашагал за Андерсом.

II

Прямо на нас шел худой, изношенный жизнью человек с согнутой спиной, впалой грудью и такой походкой, что каждая нога, поставленная на землю, долго колебалась в колене и ходила во все стороны, пока не успокаивалась и не давала место другой, не уверенной в себе, ноге. Тащился он наподобие кузнечика с переломанными ногами.

– А! – вскричал Андерс. – Коля Магнатов! Познакомьтесь... Где вчера были, Коля?

– На борьбе был, – отвечал полуразрушенный Коля. – Как обыкновенно. Ах, если бы вы видели, Андерс, как Хабибула боролся со шведом Аренстремом. Хабибула тяжеловес, гиревик, а тот, стройный, изящный...

– А вы сами, Коля, боретесь? – серьезно спросил Андерс.

– Я? Где мне? Я ведь не особенно сильный.

– Ну да... не особенно! Такие-то, как вы, сухие, нервные, жилистые, и обладают нечеловеческой силой... Как ваш

гриф? А ну, сожмите мою руку.

Изможденный Коля взял Андерсову руку, натужился, выпучил глаза и прохрипел:

– Ну что?

– Ой! Пустите!.. – с болезненным стоном вскричал Андерс. – Вот дьявол... как железо!.. Вот свяжись с таким чертом... Он те покажет! Вся рука затекла.

Андерс стал приплясывать от боли, размахивая рукой, а я дотронулся до впалой груди Коли и спросил:

– Вы гимнастикой занимаетесь с детства?

– Знайте же! – торжественно захихикал Коля. – Что я гимнастикой не занимался никогда...

– Но это не может быть! – изумился я. – Наверное, когда-нибудь занимались физическим трудом?..

– Никогда!

– Не может быть. Вспомните!

– Однажды, действительно, лет семь тому назад я для забавы копал грядки на огороде.

– Вот оно! – вскричал Андерс. – Ишь хитрец! То – грядки, а то – смотришь, еще что-нибудь... Вот они, скромники! Интересно бы посмотреть вашу мускулатуру поближе...

– А что, господа, – сказал Коля. – Вы еще не завтракали?

– Нет.

– В таком случае я приглашаю вас, Андерс, и вашего симпатичного товарища позавтракать. Тут есть недурной ресторан близко... Возьмем кабинет, я разденусь... Гм... Кое-ка-

кие мускулишки у меня-то есть...

– Мы сейчас без денег, – заявил я прямолинейно.

– О, какие пустяки. Я вчера только получил из имения... Дурные деньги. Право, пойдем...

В кабинете Коля сразу распорядился относительно вин, закуски и завтрака, а потом закрыл дверь и обнажил свой торс до пояса.

– Так я и думал, – сказал Андерс. – Сложение сухое, но страшно мускулистое и гибкое. Мало тренирован, но при хорошей тренировке получится такой дядя...

Он указал мне на какой-то прыщик у сгиба Колиной руки и сказал:

– Бицепс. Здоровый, черт!

III

Из ресторана мы выбрались около восьми часов вечера.

– Голова кружится... – пожаловался Андерс. – Поедем в театр. Это идея! Извозчик!!

Мы сели и поехали. Оба были задумчивы. Извозчик плелся ленивым, скверным шагом.

– Смотри, какая прекрасная лошадь, – сказал Андерс. – Такая лошадь может мчаться как вихрь. Это извозчик еще не разошелся, а сейчас он разойдется и покажет нам, какая такая быстрая езда бывает. Прямо лихач!

Действительно, извозчик, прислушавшись, поднялся на

козлах, завопил что-то бешеным голосом, перетянул кнутом лошаденку – и мы понеслись.

Через десять минут, сидя в уборной премьера Аксарова, Андерс горячо говорил ему:

– Я испытал два потрясения в жизни: когда умерла моя мать и когда я видел вас в «Отелло». Ах, что это было!! Она даже и не пикнула.

– Ваша матушка? – спросил Аксаров.

– Нет, Дездемона. Когда вы ее душили... Это было потрясающее зрелище.

– А в «Ревизоре» Хлестаков!.. – вскричал я, захлебываясь.

– Виноват... Но я «Ревизора» ведь не играю. Не мое амплуа.

– Я и говорю: Хлестакова! Если бы вы сыграли Хлестакова... Пусть это не ваше амплуа, пусть, – но в горниле настоящего таланта, когда роль засверкает, как бриллиант, когда вы сделаете из нее то, чего не делал...

– Замолчи, – сказал Андерс. – Я предвкушаю сегодняшнее наслаждение...

– Посмотрите, посмотрите, – ласково сказал актер. – Вы, надеюсь, билетов еще не покупали?

– Мы... сейчас купим...

– Не надо! С какой стати... Мы это вам устроим. Митрофан! Снеси эту записку в кассу. Два в третьем ряду... Живо!..

В антракте, прогуливаясь в фойе, мы увидели купеческого

сына Натугина, с которым были знакомы оба.

— А... коммерсант! — вскричал Андерс. — О вашем последнем вечере говорит весь город. Мы страшно смеялись, когда узнали о вашем трюке с цыганом из хора; ведь это нужно придумать: завернул цыгана в портьеру, приложил сургучные печати и отправил к матери на квартиру. Воображаю ее удивление. Остроумно, остроумно, да, пока в России есть еще такие живые люди, такое искреннее широкое веселье, Россия не погибла. Дайте нам пятьдесят рублей, на днях отдадим!

Хотя во всей андерсовской фразе не было ни одного знака препинания, но веселый купеческий сын сам был безграмотен, как вывеска, и поэтому последние слова принял как нечто должное.

Покорно вынул деньги, протянул их Андерсу и сказал, подмигивая:

— Так ловко это вышло... с портьерой?

* * *

Усталые, после обильного ужина возвращались мы ночью домой. Автомобиль мягко, бережно нес нас на своих пружинных подушках, и запах его бензина смешивался с дымом сигар, которые лениво дымили в наших зубах.

— Ты умный человек, Андерс, — сказал я. — У тебя есть чутье, такт и сообразительность...

– Ну, полно там... Ты только скромничаешь, но в тебе, именно в тебе есть та драгоценная ясность и чистота мысли, до которой мне далеко... Я уж не говорю о твоей внешности: никогда мне не случалось встречать более обаятельно-го, притягивающего лица, красивого какой-то странной красот...

Спохватившись, он махнул рукой, поморщился и едва не плюнул:

– Фи, какая это гадость!

Язык

I

Иногда так приятно поглядеть на людские страсти, поступки и стремления – со стороны, не будучи совершенно заинтересованным в происходящем. В созерцании человек кажется самому себе выше других, ибо он имеет право, не волнуясь, с доброй, немного иронической улыбкой следить за всем происходящим, и, если он мудр, такое созерцание должно доставить ему громадное наслаждение.

Не напоминает ли он тогда сам себе доброго, прекрасного бога, который так же беспристрастно следит за смешной суетней и курьезным столпотворением в человеческом муравейнике?

Я сидел на бульваре за буфетным столиком и, беззаботно поглядывая по сторонам, потягивал из стакана какую-то мудреную, прохладительную, мною самим изобретенную жидкость.

За соседним столиком сидела в одиночестве со стаканом чаю красивая молодая дама, по виду – иностранка. Одета она была скромно, но элегантно, и ее пышная, зрелая красота в этот томный весенний вечер вызвала со стороны бульварных фланеров не один поворот головы и жадный взгляд.

Но моя соседка рассеяннo глядела по сторонам, прихлебывала чай и ни на кого не обращала особенного внимания.

Вдруг я заметил молодого человека в прекрасной панаме. Он два раза прошел мимо моего столика, чуть не задев его, и в то же время бросая красноречивые взгляды на сидевшую даму.

Молодой человек был тоже красив, имел нежные, юношеские губы, прекрасно очерченные, как на греческих статуях, и темные крохотные усики. Кроме того, у него были горячие, томные глаза и прекрасный рост, что давало ему много преимуществ перед другими гуляющими – золотушными чиновниками, вульгарными юнкерами и какими-то кривоногими телеграфистами.

Меня восхитила смелость этого молодца. Он, пройдя два раза мимо меня, неожиданно повернул назад, очутился лицом к лицу с пышной красавицей и, опустившись на какой-то

отбившийся от пустого столика стул в одном шаге от моей соседки, спросил ее:

– Вероятно, вам сидеть так – тоска смертельная? А?

Есть разные типы ухаживателей. Некоторые, вспыхнув к женщине страстью, года три терзаются, не будучи представленными этой женщине, потом наконец находят общего знакомого, который, улучив минутку, знакомит их с предметом страсти, и тогда завязывается длинная, утомительная канитель: вздохи, пожатия – такие незаметные, что от них в случае чего можно отпереться, полунамеки и одинокие рыдания по ночам при свете задумчивой луны.

А есть и другой тип ухаживателя.

Увидев впервые на улице женщину, которая ему нравится, этот расторопный человек подлетит к ней, поспешно приподнимет шляпу и сразу перешагнет семь верст.

– Сударыня! – скажет он одним духом. – Куда изволите спешить? Жизнь коротка; нужно ею пользоваться и ловить подходящие сладкие моменты. Тут есть один очень укромный уголочек под вывеской «Византия», где нас не сыщут никакая собака, – пойдете!

Удивительнее всего, что женщина часто так поражается этим предложением, что неожиданно для себя принимает его. Потом, конечно, плачет, мучается и терзается дня три, если не больше.

II

Молодой господин, за которым я наблюдал, напоминал больше второй тип, чем первый.

– Ну, признайтесь – ведь лучше было бы со мной убить несколько часочков, чем тосковать одной? Э?

Дама подняла на него серые, немного изумленные глаза и ответила с порозовевшим от смущения лицом, на чистом немецком языке:

– Простите, я немка и говорю только на немецком языке.

– Ах, вы по-русски не говорите, – огорченно заметил молодой человек, не знавший, очевидно, ни одного языка, кроме собственного – русского.

– Я недавно приехала в этот город, – печально сказала дама, – и почти никто не понимает меня.

– Я не с какой-нибудь гнусной целью, – возразил молодой человек, силясь понять странные, незнакомые слова. – Я просто прогуливаюсь. Компренэ? Променад!

– Да, да, – вздохнула дама. – Несколько месяцев тому назад я похоронила мужа и теперь совершенно одинока.

– Да уж, знаете... – сочувственно кивнул головой молодой господин. – Есть такие мужчины, от которых не скоро отстанешь.

– Что? – машинально переспросила немка.

– Да я не о себе говорю. Я такой скромник, что просто

удивительно. А вот другие – прямо ужас.

– Так тяжело, когда нет в городе ни одной знакомой души, – сказала немка, и ее прекрасные серые глаза затуманились. – Если бы у меня здесь была подруга, я пришла бы к ней и проплакала всю ночь: так мне тяжело и грустно.

– Ничего, – успокоил ее молодой человек, – вычитесь. Один мой знакомый тоже так – ни в зуб толкнуть. А потом ничего.

– А если бы вы знали, как трудно мне устраивать дела покойного мужа... Он перед смертью служил тут в одной местной технической конторе.

Молодой господин внимательно выслушал собеседницу и, указав пальцем на ее стакан, сказал:

– Может быть, чего-нибудь другого выпьете? Позвольте вам предложить.

Дама взглянула на стакан.

– Да, чай пью. Ничего, он не остынет. Бывало, мой муж всегда любил холодный чай.

Она подняла свое красивое лицо, на которое падала тень модной шляпы, и долго смотрела на луну.

Вероятно, она думала:

«Вот эта милая, красивая луна везде одна – и здесь, и в Вене, – и она мне такая же родная... А люди разные, и никто тут не может меня развеселить».

– Вы очень красивы! – прошептал молодой господин, с восхищением глядя на нее. – Когда я смотрю на вас, у меня

бьется сердце. Если бы было можно, я засыпал бы все ваше нежное тело поцелуями.

– Почему... – спросила дама, – почему я к вам чувствую такое доверие? Мне кажется, вы не позволите сказать вольного комплимента, вы сдержанны и скромны с женщиной... Мне это нравится. Впрочем, вы, вероятно, втайне слишком высокого мнения о своей наружности? А?

Печальные глаза ее сделались кокетливыми и засветились такой теплотой, что ее собеседник тихо взял ее руку в свою и тихо погладил.

– Какая чудесная рука!

Рука действительно была на редкость красивая – нежная, полная кисть с ямочками на тыльной части и выхоленными, блестящими при лунном свете ноготками.

– Дома забыла, – улыбнулась дама. – А обыкновенно я всегда хожу в перчатках...

– Вы мне безумно нравитесь! – вскричал молодой господин. – А я... Послушайте, скажите – я, я! Я вам хоть немножко, хоть чуточку нравлюсь?

Даму удивила эта неожиданная горячность, так не вязавшаяся с предыдущим мирным разговором о перчатках.

Она недоумевающе взглянула на собеседника, с горячностью колотившего себя в грудь, и спросила, силясь понять:

– Вы? Что такое? Что – вы? Вы не носите перчаток? Ах, господи... В чем дело? Может быть, я вас чем-нибудь обидела?.. Как жаль, что мы не понимаем друг друга!..

Она в искреннем порыве положила свою руку на руку молодого человека и стала ее гладить.

– А, – расцвел он. – Значит, я вам тоже нравлюсь? Значит, вы немножко любите меня... Ах, вы, моя милая!

Несмотря на то, что он сказал это по-русски, дама ответила по-немецки:

– Вы мне очень нравитесь. У меня есть к вам какое-то странное доверие. Конечно, если бы вы понимали меня, я бы этого не сказала! Но вы мне нравитесь, мой пылкий незнакомец!

И она поглядела на него так ласково, что даже у меня, молча наблюдавшего эту сцену, забилося сердце...

Молодой господин схватил ее руку и стал целовать ее, не отрываясь.

Дама вздрогнула и деликатно высвободила руку.

– Что вы, что вы, мой милый мальчик, – улыбнулась она, укоризненно грозя ему, – ведь на нас же все смотрят.

– Что? Что вы говорите? Муж? Вероятно, о муже? Но подумайте – ведь вы же сейчас одна? Ведь ваш муж преступник, если такое сокровище, как вы, заставляет быть в одиночестве. Стоит ли думать и вспоминать о таком человеке?

И опять – удивительно – она почти поняла его, хотя говорили они на разных языках.

– Зачем? – сказала она с неожиданной грустью. – Зачем он умер, оставив меня одинокой, всем чужой тут? Не трогайте мою руку, милый ребенок. Вы знаете, я, вероятно, старше

вас... Ну, сколько вам лет? Сколько, а?

Молодому господину, вероятно, было года двадцать два, а ей двадцать четыре. Но он не смог ответить ей на этот вопрос, хотя и видел, что она обращается к нему с каким-то вопросом.

– Что? – мучительно переспрашивал он. – Что?

– Сколько лет? Ну? Вам! Я спрашиваю – вам? – Она показала пальцем на его грудь и показала пальцами, что хочет узнать цифру его лет.

– У меня? – спросил молодой господин. – Часы? Есть. Еще очень рано. Я вам покажу.

Он вынул плоские золотые часы и протянул их даме.

Та наклонилась над циферблатом и с улыбкой показала две цифры.

– Вот! Десять и одиннадцать. Вам уже есть двадцать один год, а? Вам, вам! Ах, какой вы непонятливый.

Она рассмеялась – будто жемчуг рассыпался по тарелке.

– А, – сказал, кивая головой, юноша. – Понимаю. Домой? Нужно быть дома между десятью и одиннадцатью? Да, да! Но еще очень рано.

– Так? – захлопала в ладоши дама. – Значит, я угадала? 21 год. Вы, мой милый ребенок...

«Милый ребенок» придвинулся ближе к ней и, положив незаметно, в тени спинки стула, свою руку на ее талию, сказал:

– Поедем ко мне!

– Что вы! Сумасшедший! Увидят, – ахнула дама. – Примите руку.

– Я не могу! – горячо сказал юноша. – Я с ума сойду, если мы сегодня расстанемся. Если тебе нужно домой в одиннадцать часов, поедem ко мне! У нас еще два часа... Ведь я тебе тоже нравлюсь?

Рука его продолжала лежать на ее талии. Рука эта, очевидно, жгла тело молодой женщины. Трепет пробежал по ее плечам, и она, схватив свободную руку юноши, прошептала слабеющим голосом:

– Ради бога! Не надо... Я даже не знаю, что вы говорите.

И вот страсть молодого человека сделала чудо. Он напряг все силы своего ума и вспомнил:

– Аллон нах гауз! Ко мне. Хорошо?

Он указал пальцем на себя.

– Домой? – шаловливо засмеялась дама. – К вам? Милое дитя! Да о чем же мы там будем разговаривать? Впрочем... нужно идти... становится сыро...

Молодой господин постучал лакея, бросил ему рубль и, взяв красавицу под руку, повел ее, ловко лавируя между столиками, под восхищенными взглядами сидевших дам и мужчин.

И две стройные, сильные фигуры шли по аллее к выходу, освещенные, облитые одним и тем же светом луны, сковавшим их в единую серебряную группу.

И имя этой скульптурной серебряной группе было:

«Желание».

Я проследил с божественным хладнокровием за ними, до тех пор, пока они не скрылись в зеленой лунной пыли. И я, как бог, знал последующее, хотя не мог его видеть: недолгую борьбу красавицы с предприимчивым юношей, ее несогласие идти к нему, потом ее согласие, потом жаркие тесные объятия, тихие благодарные поцелуи, и свет луны на крохотных, беспорядочно брошенных туфельках, на висящей на спинке стула кофточке и шляпке, на которую бесцеременно взгромоздился мужской жилет, не думавший о таком легкомыслии там, на бульваре, когда он облекал грудь своего хозяина.

Могу сказать – в этот вечер на бульваре я видел яркое подтверждение старой истины: есть в природе такой язык, который выше любого иностранного.

Цепная собака

I

Когда Зырянинов вошел в кабинет, полное добродушное лицо редактора журнала «Северное сияние» засияло радостью.

– Я в восторге, что вижу вас, – приветливо сказал он. – Одну минутку! Я только сейчас вот отпущу посетителя.

Посетителем был хилый молодец со скорбным видом и такими длинными волосами, что опущенная голова его напоминала плакучую иву. Он говорил:

– Почему же вы находите, что моя повесть не подходит? Неужели она слаба?

– Я нахожу? – воскликнул редактор. – Бог с вами! Я нахожу ее прелестной. Мы по этому поводу часа полтора спорили со вторым редактором «Сияния», Лиходеевым. Но он уперся, как бык, – и вот видите: приходится возвращать вам эту вещь. Верьте мне, я как будто с кровью отрываю ее от сердца. Ведь, между нами-то говоря, это лучшее, что вы написали!

– Спасибо... Вы меня хоть немного утешили. Виноват... Один вопрос: почему вы должны подчиняться мнению этого Лиходеева, а он вашему – нет?

– Иногда и он подчиняется. Лишний голос всегда принадлежит тому из нас, кто почему-либо против принятия произведения. Этим мы достигаем лучшего отбора материала в журнале.

– А что, если бы я... сходил к этому... Лиходееву. Поговорил бы... А?

– Пожалуйста! Это самое лучшее. Может быть, вы смягчите его сердце.

Хилый писатель тряхнул своей «плакучей ивой», поблагодарил редактора и исчез.

Редактор обратился к Зырянинову:

– Вы зашли за ответом?

– Да.

– Аванс? Пятьсот рублей?

– Да! Я же говорил.

– Гм... Я думаю, это можно устроить. Вот только не знаю, как Лиходеев. В этом деле нужно и его согласие.

– А вы думаете – он не согласится? – испуганно спросил Зырянинов.

Редактор улыбнулся.

– Ну, что вы... Это было бы слишком. Он не такой уж зверь, каким кажется. Правда, иногда бывает тяжеленек, душу всю своими капризами вымотает, но... в общем, дело с ним делать можно.

– Фамилия у него зловещая.

– Да уж... И характерец тоже не из первосортных. Иногда и меня до белого каления доводит. А вообще – пустяки! Сходите – ваше дело чистенькое. Если он даст согласие, идите прямо в кассу и получайте монеты. До свидания! Когда будете уходить – загляните.

Зырянинов вышел из кабинета редактора и, проходя через контору, обратился к экспедитору:

– Как зовут господина Лиходеева?

Экспедитор усмехнулся.

– За глаза? Малютой Скуратовым и Скотиной! А в глаза – Филиппом Ипатычем.

– А что он, скажите... действительно злой?

– Он? Мерзавец первой руки. Злобный скряга, палач, человек с камнем в груди вместо сердца! Его за глаза так и называют: «Малюта Скуратов»! Редактор Бильбокеев добрая душа, но тряпка и всецело в руках этого проклятого старика. Бильбокеев, хотя наружно и храбрится, но втайне боится его как огня.

– Я не понимаю, – спросил Зырянинов, – для чего в одном журнале два редактора?

– Издательская глупость. Завел издатель эту моду, да и сам не рад. Малюта, кажется, и его в руки захватил. А у вас есть дело к этому мерзавцу?

– Да... аванс. Бильбокеев согласился, а теперь остановка за Лиходеевым.

– Не даст. Это уж не первый случай. А Бильбокеев обещал? Бедняга... И жалко его, и досадно, и смешно.

– Гм... – сказал Зырянинов. – Вы говорите: Филипп Ипатьч? Ну, посмотрим-с...

II

Кабинет Лиходеева был маленький, полутемный, запыленный и грязный – настоящее жилище паука, раз навсегда соткавшего себе уютную паутину.

Наружность Лиходеева представляла яркий контраст с его характером: это был маленький розовый старичок, с ясным

взглядом голубых глаз и мягкими ласковыми жёстами. Только иногда ласковые глаза прикрывались тяжелыми веками и голос делался жестким, неприятным.

Когда вошел Зырянинов, он, кроме Лиходеева, застал у этого зловещего старика еще одного человека – судя по разговору, начинающего поэта.

– Что мне Бильбокеев! – говорил, стуча маленьким кулаком по столу, Лиходеев. – Я сам себе Бильбокеев! Стихи ваши слабы – вот и все.

– Да почему же?

– Очень просто. Это какая-то рубленая капуста, а не стихи.

– Ну, например, например... Укажите хоть одно место?

– Не помню я там ваших стихов. Еще указывай...

– У меня есть и другой экземпляр. Вот он! будьте добры взглянуть.

Лиходеев нехотя взял бумажку и повертел ее в руках.

– Ну, вот это:

К ее ногам я нес свои мечты,

Безумье грез, росинки слез вечерних...

Я ей шептал: «Прими, поверь в них...

– Что это такое?

– Виноват... Что же вам не нравится?

– Грубо. «К ее ногам!» Почему не к «ножкам», не к «сто-

пам»?

– У меня так вылилось...

– Плохо, что вылилось... Потом: «росинки слез вечерних». Зачем это? Кому это нужно? Что, вы хотите мир этим перевернуть? Стыдитесь! Да я бы на вашем месте утопился, со стыда сгорел бы. Взрослый мужчина! Прощайте, молодой человек! Хе-хе! Это вам не Бильбокеев! Притворяйте дверь, у меня ревматизм. Вам что угодно?

– Здравствуйте, Филипп Ипатыч. Я – Зырянинов. У меня принята вещь... Я хотел аванс. Бильбокеев направил к вам.

Лиходеев посмотрел на него добрыми глазами, покачал головой и поджал губы.

– Напечатана?

– Еще нет, но...

– Так как же вы хотите получить деньги под то, что еще не напечатано?

– Мне очень нужны деньги.

– Э, батенька... Кому они не нужны.

– Бильбокеев мне обещал.

Старик вздернул плечами.

– Удивляюсь я этому Бильбокееву! Это ребенок какой-то. «Обещал, обещал»! Обещать легко. Как это так: «Дайте мне аванс». Почему? «Деньги нужны»! Да мне-то, например, деньги не нужны, что ли?! Однако я не прошу. Сегодня вы аванс взяли, завтра жену у меня взяли...

– Извините! – резко перебил Зырянинов. – Это не одно

и то же.

– Э, дорогой мой... Что там говорить. Теперь пошло всеобщее развращение.

Зырянинов сухо спросил:

– Так, значит, вы в авансе отказываете?

– Господи! Ведь я же доказал вам, как дважды два, что аванса мы не можем дать. Обращаюсь к вашей рассудительности.

«Старик-то, кроме того, что зол, – еще и глуп», – подумал Зырянинов, а вслух сказал ледяным тоном:

– Прощайте. Нам с вами кажется, разговаривать больше не о чем.

И отправился к Бильбокееву.

III

– Ну что? – спросил Бильбокеев, пожимая руку Зырянинову – Удачно?

– Это мерзавец какой-то! – злобно проскрежетал Зырянинов.

Бильбокеев вскочил и всплеснул руками:

– Неужто отказал?

– Да!

– О, черт возьми... Я всего ожидал от этого маньяка, но отказать в такой простой вещи...

– И вы знаете: он не только скуп, но и глуп до противно-

го. Он при мне так раскритиковал стихотворение одного поэта...

– А что же он вам сказал?

– Сегодня, говорит, деньги возьмете, а завтра чужую же-
ну...

– Вот кретин-то. Да вы бы ему сказали, что вам очень нужны...

– Говорил. «А мне, говорит, не нужны?»

Редактор переплел пальцы и со страдальческой миной сжал их так, что они хрустнули.

– Боже! Какой осел... О, когда мы только от него избавимся? Это будет счастливейший день моей жизни.

– Ваше положение, – сочувственно сказал Зырянинов, – тоже не из важных. Я это понимаю...

– Ах, как это все неприятно... Мне так хочется вам это устроить... Я понимаю – когда деньги нужны...

– А знаете что? Напишите ему записку, что вы категорически настаиваете на выдаче мне аванса. А я ее снесу ему.

– С удовольствием. Я буду рад, если дело выгорит. И паука, может быть, зазрит совесть.

Бильбокеев стал писать записку.

– Ха-ха! Пишу ему: «Дорогой мой Филипп Ипатыч», а хочется написать: «проклятое, тупое дерево, мерзавец Филька!...» Ну – вот-с. Записка готова. Я все-таки думаю, что он согласится. Скажите ему на словах, что я прошу сделать мне в личное одолжение.

– Я не знаю, как и благодарить вас! – в волнении воскликнул Зырянинов...

IV

Лиходеев распекал какого-то потрепанного человека.

– Зачем исторический роман? Кому это нужно? Что? Бильбокеев? А что мне ваш Бильбокеев! Бильбокеев мне не указ. Исторический роман из эпохи Самозванца... Ха-ха! Да вы что, были там? Видели эту эпоху? Нет? Так нечего вам и говорить. До свиданья. Притворяйте дверь. А! Вы опять пришли? Что вам угодно?

– Вот записка от Бильбокеева. Он еще просил передать, что согласие ваше будет личным ему одолжением.

– Ребенок! – сказал старик. – Суший ребенок.

Одним глазом он скользнул по записке и, разорвав ее, бросил в корзину.

– Извините. Ничего не могу.

– Во-первых, – сказал Зырянинов, – я очень сожалею, что просьба моя удовлетворена вами быть не может, а во-вторых, ты не более и не менее как старый идиот, мерзавец, и когда черти заберут тебя в ад – на земле будет дышаться легче, солнце засияет ярче и птицы запоют громче!...

Лиходеев протянул к нему дрожащие руки и жалобно сказал:

– За что же вы... старика... обижаете?

– А за то, – в чрезмерном волнении вскричал Зырянинов, – что этот старик отказывает мне в деньгах, на которые можно было бы вернуть жизнь моей жене. У нее начало чихотки, и если повезти ее на юг, то спасти бы можно. А старику на это наплевать.

Лиходеев опустил на стул и схватился руками за голову...

Так он просидел минуты две. Потом поднял голову и, глядя на Зырянинова скорбными глазами, прошептал:

– Хорошо... Скажите в кассе... что я разрешаю. Там, вероятно, выдадут.

V

В третий раз вошел Зырянинов в кабинет Бильбокеева.

– Отказал?

– Наоборот, согласился. Я уже и денежки получил.

– Быть не может! Это так не похоже на нашего Малюту Скуратова.

– Представьте, разжалобился. Я его, впрочем, ругнул порядочно.

– Сердечно рад за вас! Поздравляю... Вы прямо маг и чародей. Чудесно, чудесно. Уходите? Ну, прощайте. Желаю вам повеселиться!

Оставшись один, Бильбокеев прошелся несколько раз по кабинету и позвонил.

– Скажите Филиппу Ипатычу, – обратился он к слуге, – что я очень извиняюсь за беспокойство, – и прошу, если он сейчас не занят, пожаловать ко мне по важному делу. Не забудьте извиниться за беспокойство.

Через минуту вошел Лиходеев. Он подошел к столу и стал неподвижный, с опущенной головой.

– Слушайте, Фиалкин! – сердито полупшепотом начал Бильбокеев. – Это что еще за новости? Какое вы имеете право давать какие-то глупейшие разрешения на авансы?! Я не для того плачу вам сорок рублей ежемесячно, чтобы вы выкидывали подобные глупости. Во всяком благоустроенном дворе есть цепная собака, но если она начинает ласкаться к прохожим, вместо того чтобы рвать им штаны, – ее выбрасывают ко всем чертям! Зарубите себе это на носу.

Как меня обворовывали

I

Однажды я ехал в поезде, имея в кармане две тысячи рублей наличными. В купе вагона нас было двое: я и еще один господин – самого продувного вида.

Еще когда не зажигали огней, я уже решил, что этот господин не прочь обокрасть меня, а когда наступил вечер, я готов был дать голову на отсечение, что мой сосед не кто

иной, как самый зловредный, опытный, хитрый вор без всяких твердых принципов и устоев.

«Хорошо-с, – думал я, свесившись с верхней койки, на которой мне предстояло провести ночь, и разглядывая подзрительного соседа. – Мы с тобой, братец, еще потягаемся!.. Ты хитер, да и я ведь человек не последнего сорта! Посмотрим...»

Голова моя усиленно заработала.

«Если я засну, – размышлял я, – то он сейчас же обшарит мои карманы, найдет в боковом кармане деньги и удерет... Значит – нужно или совсем не спать, или заснуть, спрятав предварительно деньги в надежное место. Не отдать ли их обер-кондуктору?.. Но кто может мне поручиться, что тот завтра утром не отопрется от всего, заявив, что никаких денег он и не видывал? Или сделать так: пойти в уборную и сунуть деньги до утра в умывальник или за электрический фонарь... Конечно, они могут сохраниться до утра. А вдруг кто-нибудь найдет их и заберет себе?..»

По зрелом размышлении, я признал все эти планы рискованными и негодными.

«Не спрятать ли деньги в чемодан, привязав потом его веревкой к ноге? Вор схватит чемодан, веревка дернет меня за ногу, я проснусь, наброшусь на вора и отколочу его...»

Это было бы очень недурно, если бы вор дал предварительную клятву не перерезывать ножом веревку, привязанную к ноге.

Но такую клятву, я был уверен, трудно у него вырвать, да и поклявшись, он мог бы нарушить данную клятву, потому что эти люди имеют о совести и религии самое смутное представление...

«А не предложить ли мне ему просто сто рублей, с условием, чтобы он соскочил на первой же станции? Неудобно. Спросит – почему? Раскритится...»

Я долго и тщетно ломал голову и в конце концов остановился на одной мысли, которая показалась мне наиболее подходящей.

«У меня много карманов в платье, – подумал я. – Если разложить деньги поровну по всем карманам, – вор вытащит деньги из одного кармана и удерет, не подозревая, что в каждом другом кармане лежит такая же сумма... Лучше потерять мне сто или полтора ста рублей, чем две тысячи – это ясно. Лучше уменьшить риск в пятнадцать раз, чем рисковать всем!»

Я погрузился в расчеты.

«В пиджаке у меня пять карманов, да в жилете четыре... Нет, тоже пять – один внутренний. Итого десять. В брюках – два по бокам да один сзади, на пуговице... Если при этом надеть пальто, в котором пять карманов, – получится восемнадцать. Предположим, я размещаю в каждый карман по сотне рублей... Останется две сотни лишних. Куда же их сунуть? В ботинки разве? Самое лучшее место! Наиболее рискованными карманами являются наружные в пальто. Они так яв-

но мозолят глаза, что даже честному человеку трудно удержаться, чтобы не заглянуть в них. Нельзя ли сделать так: из карманов пальто перевести одну сотню в брючный карман, а другую во внутренний жилетный (самое безопасное место). Или насовать в пальто по десяти рублей на карман – пусть берет, простофиля. Но тогда у меня останется лишних двести пятьдесят. Можно в пиджак. Какой пиджак? Что за вздор... Это я хотел сказать – чемодан? Где чемодан?.. Вот он! Странно только – почему он шевелится?

Действительно, мой чемодан зашевелился, верхняя крышка отскочила и изнутри выползло нечто вроде змеи красивого изумрудного цвета. Меня страшно удивила особенность женщин притворяться: я сразу разгадал хитрость! Это была не змея, а рукав зеленой кофточки жены. Я увидел жену во весь рост. Она потрепала меня по плечу, опустилась на качалку и лениво сказала:

– Вот скучища-то! Хоть бы в театр куда-нибудь. Еще не поздно? Который час?

Я протянул руку к своим часам и, содрогнувшись, очнулся.

Никакой жены не было. Она исчезла, и даже не одна, а с моим подозрительным соседом.

Я огляделся. Купе было совершенно пусто.

Я схватился за карман. Он был пуст.

В отчаянии я схватился за голову. В ней тоже после крепкого тяжелого сна ощущалась пустота.

Так обокрали меня первый раз в жизни.

II

Вторая кража была на значительно меньшую сумму. Просто когда я жил в кавказском курорте и вышел однажды прогуляться по горам, откуда-то из-за утеса выскочили кавказские разбойники и украли меня. Повторяю – эта кража была для воров менее прибыльна, чем первая, в вагоне, потому что со мной не было ни копейки денег, а сам по себе я стоил немногого.

Разбойники схватили меня, связали, посадили на лошадь и заявили самым убедительным тоном:

– Если вздумаешь бежать – мы тебя уьем.

– Да для чего я вам понадобился? – с любопытством спросил я. – Вот еще, нашли тоже сокровище!

Моя скромность не произвела на них хорошего впечатления. Начальник толкнул меня в спину и сказал:

– Мы за тебя получим хороший выкуп.

Я был изумлен.

– За меня? Неужели я кому-нибудь нужен?

– Твои родственники выкупить тебя.

Абреки показались мне решительными дураками.

– Родственники? Только им и дела, что выкупать меня.

Как же! Есть у меня один дядя, да и тот повесится прежде, чем заплатит за меня три рубля.

– Мы за тебя получим десять тысяч!

Впервые узнал я свою настоящую рыночную стоимость, и размер ее немало меня порадовал. Лично я был о себе более скромного мнения.

– Не буду с вами торговаться, – сказал я, качая головой, – потому что это меня унизит. Но если была бы малейшая возможность зашибить на мне деньги, я первый сказал бы вам: «Просите двадцать тысяч. Мы оба по-братски заработаем на этом деле». Однако я не говорю этого. Почему? Совершенно безнадежное предприятие – за меня никто не даст ни копейки!

– У тебя есть друзья! – угрюмо сказал начальник.

Я горько засмеялся.

– Друзья! Я у них по уши в долгу! Я перехватывал деньги, где только мог... Когда ваш посланный явится к ним за выкупом, они поймут его, свяжут и потребуют уплаты всех моих долгов. Скажу вам откровенно: никогда вы не делали более глупой и менее удачной кражи, чем кража меня. Ваш торговый дом может лопнуть на мне, как мыльный пузырь. Я величина в покупательском смысле не только положительная, не только нулевая, но даже отрицательная! Прогоните меня как можно скорее.

– Пиши письмо! – закричал сердито начальник. – Проси выкупа, или мы тебя зарежем как собаку.

– Кому? – вспылил и я. – Кому я буду писать? Ротшильд? Испанскому королю? Говорю же вам – ни одна душа в

мире не даст за меня ни копейки. Что я такое? Писанный красавец, гений, за которого всякий отвалит какой угодно куш?! Украли... тоже! Не могли найти ничего лучшего... Где у вас глаза-то были?

Тон у меня был такой убедительный, что все сконфузились.

– В таком случае мы тебя зарежем, – предложил начальник.

– Тоже предприятие! Из одной глупости в другую. Такие вы умные интеллигентные разбойники, а рассуждаете, как... черт знает кто. Ну, вы меня зарежете – какая вам от этого польза? А если отпустите – я вернусь в город и буду расхваливать вас на всех перекрестках. Распишу, какие вы смелые, мужественные, благородные... Популярность ваша возрастет, и бедное население окружит вас ореолом героев. Богачи будут вдвойне бояться вас и беспрекословно выкупать друг друга. Кроме того, вернувшись в город, я постараюсь сам разбогатеть, обрасти, как говорится, шерстью, и, если когда-нибудь снова попадусь вам, за меня любой банк заплатит вам сколько пожелаете. Отпустите меня, а? Черт со мной, в самом деле!

– Черт с ним, в самом деле, – сказал, пожимая плечами, начальник. – Развяжите его. Пусть убирается на все четыре стороны.

Опьяненные моим дешевым красноречием, невежественные сыны гор развязали мне руки, и я пустился бежать по

крутым утесам и камням с такой быстротой, что, если бы случилось мне споткнуться и упасть в пропасть, – от моего десятитысячного тела остались бы жалкие обломки, рублей на двадцать – двадцать пять по наивысшей оценке.

III

До сих пор я считаю самым гнусным делом третью кражу. Отчасти потому, что она была двойная, а отчасти – в ней был замешан один из моих лучших друзей.

Друга этого звали Фролов.

В дни нашей ранней молодости мы были неразлучны, но потом, когда в нашем городе появилась красавица-вдова Марфа Леонидовна, – наши отношения испортились. Ухаживали мы за ней оба, оба бывали у нее, но однажды Фролов в мое отсутствие совершенно необъяснимым образом взял надо мной перевес, и с тех пор красавица была для меня совсем потеряна. Я был так огорчен, взбешен и расстроен, что не являлся к ним (они поселились вместе) целый год, а потом однажды явился, чтобы высказать счастливым любовникам свое настоящее мнение об их отношении ко мне.

Когда я приехал к ним – Фролова не было и приняла меня Марфа Леонидовна.

Я уселся в кресло, угрюмо оглядел ее пышную великолепную фигуру и спросил сдавленным голосом:

– Счастливы?

Она улыбнулась:

– О, конечно.

– Послушайте, – сказал я, придвигаясь к ней в порыве неизъяснимого вдохновения. – Я через пять минут уйду и никогда больше, слышите ли, никогда не покажусь вам на глаза. И только об одном умоляю – объясните мне, как другу: за что вы его полюбили? Чем он покори́л вас?

Она смотрела в окно, мечтательно улыбаясь и постукивая носком туфельки о ковер. Потом, после некоторого колебания, сказала:

– Вам это может показаться странным, но Володю я полюбила за одно стихотворение. Такое стихотворение мог написать только талантливый, безумно любящий человек. И когда он прочел его мне и посвятил – я дала ему первый поцелуй.

Я всплеснул руками.

– Володька написал хорошие стихи?! Полноте! Он способен рифмовать «село» и «колесо», «медведь» и «плетень» – я очень хорошо его знаю. Наверное, бездарные глупейшие стишонки написал он вам?

– Ошибаетесь, – нахмурилась она. – Стихи бесподобные. Так мог написать только большой поэт. Правда, такие стихи могла подсказать исключительно любовь ко мне – больше он стихов не писал.

– А как они... начинаются? Не помните?

Она обратила глаза кверху и тихо начала:

В ночь разлуки с тобою приснился мне сон.
Страшен был, непонятен был он...
Для него нет в уме объяснения —
Мне пригрезились волны забвенья
Мутной Леты, и он — этот дряхлый Харон
Вел ладью свою против течения...

Я в ладье той сидел
И печально глядел...

Я вскочил с кресла и с громким криком схватил прекрасную вдову за руку.

— Слушайте! — вскричал я. — Да ведь это мое стихотворение!! Я его тогда же, помню, написал и показывал Фролову. Фролов пришел от него в неистовый восторг, просил даже переписать его...

Красавица побледнела, как бумага. Грудь ее вздымалась, подобно морской волне.

— Возможно ли это?

— Клянусь вам — это мои стихи.

Руки ее бессильно упали на колени.

— Что же... теперь делать?

Я заглянул ей в лицо и сказал:

— Первый ваш поцелуй принадлежал вору; отдайте второй — собственнику!

— Но ведь я целый год любила его за это стихотворение!

– В таком случае, – озабоченно сказал я, обнимая ее талию, – нам нужно как можно скорее наверстать этот украденный год!!

И эта честная женщина пожалела обворованного простака, и тихо улыбнулась ему, и поспешила согласиться с ним...

Дураки, которых я знал

I. Удивительный конкурс

Громов сосредоточенно взглянул на меня и сказал:

– В этом отношении люди напоминают устриц.

– В каком отношении и почему устриц? – спросили мы: я и толстый Клинков.

– В отношении глупости. Настоящая, драгоценная, кристальная глупость так же редка в человеке, как жемчужина в устрице.

– Не рискованно ли: сравнивать глупость с жемчужиной? – спросил рассудительный Клинков.

– Не рискованно!! Вы знаете, я уже второй год культивирую около себя дурака. Что это за прелесть! Сущая жемчужина. Нужен был тщательный половой подбор, несколько поколений глупых людей, чтобы произвести на свет такое сокровище. Зовут его Петенька.

– У меня тоже есть свой дурак, – похвастался Клинков. –

Он, вероятно, лучше твоего. Это самый веселый восторженный дурак в свете. Я познакомился с ним в одном доме шесть месяцев тому назад и с тех пор полюбил его, как сына. Он восхищается всем, что я говорю, и от самых серьезных слов хохочет, как сумасшедший. Этот человек считает меня самым тонким остряком. Когда я однажды при нем рассказал о землетрясении в Мессине, он перегнулся пополам от хохота. «Ах, ты ж, господи! – восклицал он, задыхаясь. – Только этот плутишка Клинков может так рассказывать курьезные вещи с серьезным лицом».

– Позвольте! – хлопнул себя ладонью по лбу молчавший до того Подходцев. – Да ведь и у меня есть дурак. Правда, он хитер, как дикарь, и скрывает свою глупость, как скупой рыцарь – золото. Но иногда она – эта глупость – блеснет нечаянно сквозь какую-нибудь прореху и озарит тогда своим сиянием весь мир! Он служит в таможне и зовут его Эрастом.

– Красивое имечко, – завистливо проворчал Клинков. – Моего зовут просто Феодосий.

– А у меня... Нет своего дурака, – печально вздохнул я. – Боже ты мой! У всех других есть дураки, все живут – люди как люди, – а я совершенно одинок. Громов, подари мне своего дурака.

– Ни за что в свете. Вот еще!

– Ну, на что он тебе? Ты другого найдешь.

– Нет, нет, – сухо сказал Громов. – Не будем говорить об этом.

– Клинков! – обратился я к толстому другу. – Продай мне своего веселого дурака. Я тебе отвалил бы не маленькие деньги.

– Попроси у Подходцева.

– Зарежьте вы меня прежде, чем я отдам вам его! – закричал Подходцев. – Если я лишусь его, я не перенесу этого. Я умру от горя.

– Самый лучший дурак – мой, – хвастливо засмеялся Громов. – Мой славный кристальный Петенька.

– Ну, нет, – возразил, пыхтя, Клинков. – Твой сдаст перед моим.

Подходцев самоуверенно засмеялся.

– Оба они, вероятно, ничто перед моим Эрастом. Я уверен, что ваши дураки и не дураки вовсе. Так просто, самозванцы. А мой – стоит только посмотреть на его лицо – и всякий скажет: «Да, это он!»

Все трое счастливцев закричали, заволновались, заспорили.

– Чего проще, господа, – пожал я плечами. – Устройте конкурс своих дураков. Чей дурак лучше – тот возьмет первый приз.

– Прекрасно! – воскликнул Подходцев.

Все благодарили меня, а Клинков даже поцеловал.

Конкурс решено было устроить в моей квартире. Так как я не имел своего дурака («обездурачен» – как определил мое положение Подходцев) – меня и выбрали в качестве жюри.

В тот же день я получил от Подходцева, Клинкова и Громова адреса Эраста, Феодосия и Петеньки, поехал к ним и, после недолгой беседы, получил от каждого определенное обещание посетить меня. Чтобы все три дурака могли заранее освоиться друг с другом, я утром в день конкурса собрал их в маленьком ресторанчике, где мы позавтракали и обменялись мнениями по разным вопросам жизни.

Все трое действительно оказались на редкость дураками – все здоровый, отборный, невероятно глупый народ.

От часовой беседы с ними голова моя так распухла, что при возвращении домой шапку пришлось нести в руках.

II. Конкуренты

К десяти часам вечера приехали все. Каждый приехал со своим дураком, подобно охотникам, которые являются к сборному пункту с собственной собакой на веревке...

Сразу же все прибывшие разбились на две группы: умные тихо шушукались в углу кабинета, а дураков я усадил за чайный стол и принялся энергично угощать чаем с коньяком.

Ко мне подкрался на цыпочках Подходцев с миной озабоченного родственника мертвеца, которого собираются отпевать, и шепнул:

– Ну, что ж... Можно начинать?

– Да. Я распоряжусь, чтобы дали закуску и вино.

Я ободрительно подмигнул насторожившимся дуракам и

вышел из комнаты.

Подали ужин. Я посадил всех вразбивку: дурака между двумя умными и умного между двумя дураками. Мне же, как арбитру, пришлось сесть вне этого порядка.

Была минута напряженного молчания.

– Однако и жарко же здесь! – вздохнул Подходцев.

Подходцевский дурак Эраст укоризненно поглядел на своего хозяина и возразил:

– В доме повешенного не говорят о веревке.

– Почему, милый?

– Потому что потому.

– Нет, Эрастик, – захныкал Подходцев. – Вот ты сделал мне замечание, ты обидел меня, а за что? Где у тебя веревка и где повешенный? Если веревка – воздух, а повешенный – хозяин, то ты обидел и хозяина. Если же веревки – все присутствующие – ты обидел и присутствующих. Что ты, родной, думал сказать этой фразой?

– Не хотели ли вы сказать, что из нас можно веревки вить? – спросил обиженно Громов.

– Или что мы вешаемся всем на шею? – возвысил голос Клинков.

Дурак Клинкова, веселый Феодосий, услышав слова своего патрона, всплеснул руками и громко захохотал.

– Ну и Клинков! Ну и удружил же! Молодец, Клиночек. Очень зло сказано.

– Ваш спор, господа, отклонился в сторону, – заметил Пе-

тенька. – Я принужден указать на то...

– Тише, ребята! – зычно рявкнул Громов. – Мой Петя говорит.

– ...На то, что сравнение разогретого воздуха с веревкой грешит неправильностью. Вербка, как известно, имеет два измерения.

– Одно, – тихо сказал Эраст.

– Почему, Эрастик? – прищурился Подходцев.

– Одна веревка, одно и измерение.

– Дайте Петечке договорить, – ревниво перебил его Громов. – Говори, Петечка.

– ...Итак, я говорю: воздух есть нечто невесомое, нечто такое, нечто...

– Искомое! – подсказал Громов.

– Почему искомое?

– Потому что мы его ищем. Все люди ищут воздуха, потому что иначе они бы задохлись.

Эраст пожал плечами и сухо возразил:

– Однако же я никогда не ищущ воздуха и – как видите – не задыхаюсь.

– Очень зло сказано! – усмехнулся, кивая головой, Феодосий.

– Мы опять отклонились от темы, – поморщился громовский дурак. – Сравнение воздуха с веревкой неправильно в самом корне.

– В корне чего? – переспросил методичный сухой тамо-

женный Эраст. – Я говорю – в корне чего: воздуха или веревки?

– Вережки и воздуха.

– Очень зло сказано, – значительно сказал Феодосий.

– Значит, по-вашему, веревка и воздух имеют корни? – придиричиво подхватился Эраст. – Да? Может, веревка имеет и листья, да?

– Я не понимаю, – робко сказал громовский дурак Петенька, – чего он на меня кричит?

– Отчасти Петя прав, – вступился Клинок. – Если веревка не имеет листьев – она имеет ствол.

– Кто из вас, господа, был когда-нибудь влюблен? – спросил неожиданно Подходцев.

Его дурак Эраст прищурился:

– Это вы почему спросили?

– Так просто, Эрастик.

– Нет, позвольте... нельзя так спрашивать... Ведь всякий вопрос должен же иметь под собой какую-нибудь почву?

– Господа! У нас получается сад! – вскричал Клинок.

– Почему сад? – презрительно спросил непоколебимый дурак Эраст.

– У нас есть почва, есть стволы, есть листья и есть корни...

– Зло сказано!! – восторженно взвизгнул Феодосий. – Тонко сострено!

Но сейчас же под тяжелым взглядом таможенного Эраста съежился Феодосий и сконфуженно зашептал что-то Пе-

теньке.

– Мы сейчас говорили одно, а Подходцев о какой-то любви спрашивает. Был разговор о вещественности воздуха, атмосферы...

– Воздух и атмосфера не одно и то же, – встрепнулся Петенька.

– А какая же разница?

– Атмосфера одна, а воздуху много, – подсказал Громов.

– Да? Вы так думаете? – заскулил, вертя головой, ядовитый подходцевский дурак Эраст. – Вы так полагаете? Таково ваше мнение?

– Так его, Эраст, так! – заплодировал Подходцев. – Хватай его за ноги.

– Вы полагаете – атмосфера одна, а воздуху много? Да? Так? Так я скажу вам, миленький, что иногда в одном паровом котле помещается двадцать атмосфер.

– Ай да ловко! – захохотал Феодосий. – Ловко подцепили Громова! Молодец Эраст! Остроумно! Осадили Громчика с атмосферой.

– Это называется атмосферический осадок, – добродушно вставил Петенька.

– Зло сказано! – похвалил и его восторженный Феодосий.

III. Итоги

– А не довольно ли? – шепнул мне Подходцев. – Кажется,

физиономии выяснились.

– Господа! – громко сказал я. – Пойдем в кабинет. Туда нам дадут кофе. Эраст, Петенька, Феодосий! Идите в кабинет, мы скоро придем – сейчас только кое-какие счета нужно выяснить.

Дураки переглянулись, подмигнули друг другу и, взявшись под руку, послушно зашагали в кабинет. Мы остались одни.

– Ну-с, – сказал гордо Громов. – Теперь вам ясно превосходство моего веселого Феодосия? Надеюсь...

– Ну, уж твой Феодосий... Обратили вы внимание, господа, какой у меня умный рассудительный дурак Эрастик? Как он методически рассуждает?

– Что?! Да мой Петенька на голову выше. Он, правда, не веселый, не методичный, но ведь его разговор о корне веревки и воздуха – это все! Это Шекспир.

– Тссс!.. – приложил я палец к губам. – Хотите слышать, о чем говорят дураки на свободе? Пойдем в спальню. Оттуда все слышно.

В спальне было темно. Мы на цыпочках подкрались к полуоткрытым в кабинет дверям и заглянули...

– Господа! – возбужденно говорил Петенька. – По справедливости, приз принадлежит мне за моего дурака! За Громова. Вы заметили, что он ляпнул насчет атмосферы? Я в душе чуть не помер со смеху.

– Па-азвольте. Па-азвольте, – перебил Эраст. – По-мо–

ему, мой Подходцев в тысячу раз глупее Громова. Его бестактный разговор о любви, когда его никто и не спрашивал...

– Это зло сказано! – захохотал Феодосий. – Но, братцы, прошу вас! Ей-богу! Пусть мой Клинков будет первым. Он самый веселый, остроумный дурак современности. А? Братцы!

– Па-азвольте! Я стою за своего Подходцева! Впрочем, спросим хозяина, как мы с ним и условились. Пусть он скажет.

В спальне произошла возня. Это Подходцев схватил меня за шиворот и вытащил в столовую.

– Говори, что это все значит?

Я нахально засмеялся.

– То и значит, что конкурс был двойной. Я уверил ваших дураков, что они умные, а вы – дураки и что забавно бы устроить насчет вас конкурс. Вы думаете, что это вы их привезли, а они думают, что они вас привезли. Вы состязались на них, а они на вас.

– Проклятый! Ты испортил наших дураков!

– Зачем ты это сделал? – сурово спросил Громов.

Я сделал умильное лицо и пропищал:

– Что ж, братцы... У вас небось были дураки, а у меня не было. Я и сделал себе... целых шесть сразу!

Мокрица

Когда я дочитал до конца свою новую повесть – все присутствующие сказали:

– Очень хорошо! Прекрасное произведение!

Я скромно поклонился. Сзади кто-то тронул меня за плечо:

– Послушайте... извините меня за беспокойство... послушайте...

Я обернулся. Передо мной стоял маленький человек средних лет, ординарной наружности. Глаза скрывались громадными синими очками, усы уныло опускались книзу, борода была плохая, наполовину как будто осыпавшаяся.

– Что вам угодно?

– А то мне угодно, милостивый государь мой, что повесть ваша совершенно неправильная! Уж я-то знаток этих вещей...

Он самодовольно засмеялся.

– Вы... что же, критик?

– Бухгалтер.

– А... так... – нерешительно протянул я. – Но вообще-то вы знаток литературы?

– Бухгалтерии! – упрямо сказал он, глядя на меня громадными стеклами. – Уж в бухгалтерии-то, батенька, меня не поймаешь!

Он поежился и кокетливо захохотал с таким видом, будто я собирался его ловить.

– Вам не нравится моя повесть?

– Нет, ничего. Повесть как повесть. Только неправильная.

Заинтригованный, я отвел его в угол, сунул ему в руку рукопись и сказал:

– Укажите мне неправильные места.

Такое доверие польстило ему. Он вспыхнул до корней волос, застенчиво перелистал рукопись и, найдя какое-то место, отчеркнул его ногтем.

– Вот! Это неправильно: «Корчагин не показывал виду, что знает о проделках жены, но втайне все ее вольности, все измены и оскорбления записывал ей в кредит. Дебет же ее, в который он решил записывать ее ласки и поцелуи, – был пуст». Вот!

– Вам не нравится это место?

– Присядем, – сказал маленький бухгалтер.

Мы сели.

– Видите ли... Я взял на себя смелость сделать вам замечание потому, что вы впали в громадную ошибку... Вы знакомы с двойной итальянской бухгалтерией?

– Н-нет...

– Двойная итальянская бухгалтерия изобретена несколько сот лет тому назад монахом Лукой Пачиоло. Принцип ее заключается в двойной записи каждого счета, чем достигается механическое контролирование правильности записи. Если баланс счетов не сходится в цифрах – это показатель неправильности в частных записях. Записи в счетовых книгах отмечаются на двух сторонах развернутой книги: на ле-

вой и правой. На левой стороне счета или лица записывается так называемый дебет – это счет или лицо должны владельцу книги; на правой стороне записывается так называемый кредит – это владелец книги состоит в долгу у лица или счета. Поняли?

– Да... пожалуй...

– Теперь ясно, что вы совершили колоссальную, непростительную ошибку: Корчагин должен был измены и оскорбления жены записать ей не в кредит, а в дебет! А ласки ее – наоборот – не в дебет, а в кредит! У вас это перепутано.

Я горячо пожал бухгалтеру руку:

– Я вам очень, очень признателен. Я сейчас же исправлю эту досадную погрешность.

Моя горячая благодарность смутила его. Он махнул рукой и сказал:

– Помилуйте! Я всегда рад... Конечно, нужно хорошо знать бухгалтерию... Дебет – это что нам должны, кредит – то, что должны мы счету.

Я еще раз пожал ему руку и отошел.

Он озабоченно крикнул мне вслед:

– Так не забудьте же: дебет – нам должны, кредит – мы должны.

– Не забуду, не забуду,

II

Мы сидели в укромном уголку обширного кабинета и тихо разговаривали.

Ольга Васильевна положила свою руку на мою и ласково, задушевно сказала:

– Эта повесть – ваша лучшая вещь. Громадная изобразительная сила, яркие краски причудливо смешиваются на этих страницах с волшебными лирическими полутонами, мощный голос зрелого мужа сплетается с полудетским лепетом влюбленного юноши...

– А, вы здесь, – сказал бухгалтер, подходя к нам. – Ну, что... исправили?

– Исправил, – сказал я. – Спасибо.

– Что такое? – удивилась Ольга Васильевна.

Бухгалтер усмехнулся, снисходительно подергав плечом.

– Ах, уж эти писатели... Представьте, какую он штуку написал... Ну, хорошо, что я был тут, указал, исправили... А то что бы вышло? Неприятность! Скандал! Можете себе вообразить: он дебет написал там, где нужен кредит, а кредит – где дебет!

Укоризненно покачав головой, он прошел дальше, но потом круто повернулся и крикнул нам:

– А разница называется – сальдо!

– Что-о?

– Я хочу вас предупредить – если будете писать еще что-нибудь: предположим, что в дебете 100 рублей, а в кредите полтора; разница – 50 рублей – и называется: сальдо! Сальдо в пользу кредитора.

– Ага... хорошо, хорошо, – сказал я, – запомню.

Бухгалтер снисходительно улыбнулся и добавил:

– А измены и оскорбления ваш Корчагин в кредит ее счета не мог записывать... Он записал их в дебет.

Он кивнул головой и исчез; вслед за ним ушла и Ольга Васильевна. Оставшись один, я побрел в гостиную.

В одном углу происходил оживленный разговор. До меня донеслись слова:

– Как услышал я – так будто бы меня палкой по голове треснули. Как-с, как-с, думаю? Она же его оскорбляла, она же ему изменяла, да он же ей это и в кредит пишет? Хорошая бухгалтерия... нечего сказать! Хорошо еще, что спохватились вовремя... исправили...

Один из гостей, заметив меня, подошел и сказал:

– Вы неисправимый пессимист. В вашей повести вы показываете такие бездны отчаяния и безысходности...

– Это что! – раздался сзади нас вкрадчивый голос. – Он еще лучше сделал: его Корчагин дурные стороны жены заносил в кредит ей, а хорошие в дебет. Помилуйте-с! Да я бухгалтерию как свои пять пальцев знаю. Как же... Вот если бы здесь была книга – я бы вам наглядно показал... Вот, предположим, этот альбом открыток: тут, где Кавальери, – это

дебет... А тут... вот эта... Типы белорусов – это кредит. Я-то уж, слава тебе господи, знаю это как свои пять пальцев.

– Да, да, – нетерпеливо сказал я. – Хорошо. Ведь я уже исправил.

– Хорошо, что исправили, – добродушно согласился он. – А то бы... Ведь таких вещей никак нельзя допустить!.. Помилуйте... Дебет и кредит – это небо и земля.

– Пожалуйста ужинать, – сказал хозяин.

III

Все усаживались, шумно двигая стульями. Бухгалтер сел против меня... Посмотрел на меня, как заговорщик, сделал правой рукой предостерегающий знак и засмеялся.

– Да-с! – сказал он. – Бухгалтерия – это штука тонкая. Ее нужно знать. Я вам когда-нибудь дам почитать книжку «Популярный курс счетоводства». Там много чего есть.

Я сделал вид, что не слышу.

Сосед с левой стороны спросил меня:

– Если я не ошибаюсь, в основу вашей повести заложена большая отвлеченная мысль, но она затемнена повествовательной формой, которая...

– Была затемнена, – согласился бухгалтер. – Но теперь все исправлено. Все, как говорится, в порядке. Вы... вот что... Если еще что-нибудь будете писать и вам встретятся на пути какие-нибудь такие бухгалтерские штуки и экивоки – вы

пожалуйста ко мне... без церемоний! Обсудим – как и что. Я выложу вам, как на ладони!

– Нет, зачем же, – сухо возразил я. – В этом, вероятно, не представится надобности. Ведь беллетристика и бухгалтерия – это две совершенно разные вещи.

Огорченный бухгалтер притих. Съел какую-то рыбку, подумал немного, потом приподнялся и, ударив меня через стол по плечу жестом старого знакомого, спросил:

– А вы знаете, что такое транспорт?

– Знаю.

– Нет, не знаете! Вы думаете, это просто собрание разных подвод для перевозки кладей? Да? Но в бухгалтерии это совсем другое: транспортом называется обыкновенный перенос итога с одной страницы на другую. Внизу подписывается итог страницы и переносится на следующую.

– Почему вы думаете, – спросил я левого соседа, – что повествовательная форма произведения должна затемнить общую отвлеченную мысль?

– Потому что художественные детали разбивают это впечатление.

– Это верно, – согласился бухгалтер, делая мне ободряющий жест. – Разбивает впечатление. Ведь это, если сказать какому-нибудь бухгалтеру, – он помрет со смеху. А? Хе-хе... Дебет поставить в кредит! А? Что такое, думаю? Это же невозможно!

Не дождавшись сладкого, я извинился и встал:

– Я пойду на минуту к письменному столу. Хочу не забыть исправить два-три места в повести.

Я сел и исправил.

Когда сзади раздался голос: «Ну что, исправили? Теперь уж не спутаете дебет с кредитом?» – я нахмурился и сказал:

– Да-с, я исправил. Вот, слушайте: «Корчагин не показывал виду, что дебет жены записан ему в сальдо. Он перенес большой кредит в транспорт, который вместе с сальдо давал перенос дебета на счет того лица, которому пришла идиотская затея заняться бухгалтерией; это заносим ему в кредит».

С жалобным криком, простирая дрожащие руки, бросился он ко мне, но я с отвращением отшвырнул его и, сунув рукопись в карман, ушел.

Лакмусовая бумажка

I

Я был в гостях у старого чудака Кабакевича, и мы занимались тем, что тихо беседовали о человеческих недостатках. Мы вели беседу главным образом о недостатках других людей, не касаясь себя, и это придавало всему разговору мирный, гармоничный оттенок.

– Вокруг меня, – благодушно говорил Кабакевич, – собралась преотличная музейная компания круглых дураков, лжецов, мошенников, корыстолюбцев, лентяев, развратников и развратниц – все мои добрые знакомые и друзья. Собираюсь заняться когда-нибудь составлением систематического каталога, на манер тех, которые продаются в паноптикумах по гривеннику штука. Если бы все эти людишки были маленькие, величиной с майского жука, и за них не нужно бы отвечать перед судом присяжных, я переловил бы их и, вздев на булавки, имел бы в коробке из-под сигар единственную в мире коллекцию! Жаль, что они такие большие и толстые... Куда мне с ними!

– Неужели, – удивился я, – нет около вас простых хороших, умных людей, без глупости, лжи и испорченности?

Мне казалось, – я этими словами так наглядно нарисовал свой портрет, что Кабакевич поспешит признать существование приятного исключения из общего правила – в лице его гостя и собеседника.

– Нет! – печально сказал он. – А вот, ей-богу, нет!

«Сам-то ты хорош, старый пьяница», – критически подумал я.

– Видишь, молодой человек, ты, может быть, не так наблюдателен, как я, и многое от тебя ускользает. Я строю мнение о человеке на основании таких микроскопических, незаметных черточек, которые вам при первом взгляде ничего не скажут. Вы увидите настоящее лицо рассматриваемого че-

ловека только тогда, когда его перенесли на исключительно благоприятную для его недостатка почву. Иными словами, вам нужна лакмусовая бумажка для определения присутствия кислоты, а мне эта бумажка не нужна. Я и так, миленький, все вижу!

– Это все бездоказательно, – возразил я. – Докажите на примере.

– Ладно. Назови имя.

– Чье?

– Какого-нибудь нашего знакомого, это безразлично.

– Ну, Прягин Илья Иванович. Идет?

– Идет. Корыстолюбие!

– Прягин корыстолюбив? Вот бы никогда не подумал – ха-ха! Прягин корыстолюбив?

– Конечно. Ты, молодой человек, этого не замечал, потому что не было случая, а мне случая не нужно.

Он умолк и долго сидел, что-то обдумывая.

– Хочешь, молодой человек, проверим меня. Показать тебе Прягина в натуральную величину?

– Показывайте.

– Сегодня? Сейчас?

– Ладно. Все равно делать нечего.

Кабакевич подошел к телефону.

– Центральная? 543-121. Спасибо. Квартира Прягина? Здравствуй, Илья. Ты свободен? Приезжай немедленно ко мне. Есть очень большое, важное дело... Что? Да, очень

большое. Ждем!

Он повесил трубку и вернулся ко мне.

– Приедет. Теперь приготовим для него лакмусовую бумажку. Придумай, молодой человек, какое-нибудь предприятие, могущее принести миллиона два прибыли...

Я засмеялся.

– Поверьте, что, если бы я придумал такое предприятие, я держал бы его в секрете.

– Да нет... Можно выдумать что-нибудь самое глупое, но оглушительное. Какой-нибудь ослепительный мираж, грезу, закованную в колоссальные цифры.

– Ну, ладно... Гм... Что бы такое? Разве так: печатать объявления на петербургских тротуарах.

– Все равно. Великолепно!.. Оглушительно! Миллионный оборот! Сотни агентов! Струи золота, снег из кредитных бумажек! Bravo! Только все-таки разработаем до его прихода цифры и встретим его с оружием в руках.

Мы энергично принялись за работу.

II

– Что такое стряслось? – спросил Прягин, пожимая нам руки. – Пожар у тебя случился или двести тысяч выиграл?

Кабакевич загадочно посмотрел на Прягина.

– Не шути, Прягин. Дело очень серьезное. Скажи, Прягин, мог бы ты вступить в дело, которое может дать до трех тысяч

процентов дохода?

– Вы сумасшедшие, – засмеялся Прягин. – Такого дела не может быть.

Кабакевич схватил его за руку и, сжав ее до боли, прошептал:

– А если я докажу тебе, что такое дело есть?

– Тогда, значит, я сумасшедший.

– Хорошо, – спокойно сказал Кабакевич, пожимая плечами и опускаясь на диван. – Тогда извиняюсь, что побеспокоил тебя. Обойдемся как-нибудь сами. (Он помолчал.) Ну, что, был вчера на скачках?

– Да какое же вы дело затеваете?

– Дело? Ах, да... Это, видишь ли, большой секрет, и если ты относишься скептически, то зачем же...

– А ты расскажи! – нервно вскричал Прягин. – Не могу же я святым духом знать. Может, и возьмусь.

Кабакевич притворил обе двери, таинственно огляделся и сказал:

– Надеюсь на твою скромность и порядочность. Если дело тебе не понравится – ради бога, чтобы ни одна душа о нем не знала.

Он сел в кресло и замолчал.

– Ну?!

– Прягин! Ты обратил внимание на то, что дома главных улиц Петербурга сверху донизу покрыты тысячами вывесок и реклам? Кажется, больше уже некуда приткнуть самой кро-

шечной вывесочки или объявления! А между тем есть место, которое совершенно никем не использовано, никого до сих пор не интересовало и мысль о котором никому не приходила в голову... Есть такое громадное, неизмеримое место!

– Небо? – спросил иронически Прягин.

– Земля! Знаешь ли ты, Прягин, что тротуары главных улиц Петербурга занимают площадь в четыре миллиона квадратных аршин?

– Может быть, но...

– Постой! Знаешь ли ты, что мы можем получить от города совершенно бесплатно право пользования главными тротуарами?

– Это неслыханно!

– Нет, слыхано! Я иду в городскую думу – и говорю: «Ежегодный ремонт тротуаров стоит городу сотни тысяч рублей. Хотите, я берусь делать это за вас? Правда, у меня на каждой тротуарной плите будет публикация какой-нибудь фирмы, но не все ли вам равно? Красота города не пострадает от этого, потому что стены домов все равно пестрят тысячами вывесок и афиш – никого это не шокирует... Я предлагаю вам еще более блестящую вещь: у вас тротуарные плиты из плохого гранита, а у меня они будут чистейшего мрамора!

Прягин наморщил лоб.

– Допустим, что они и согласятся, но это все-таки вздор и чепуха: где вы наберете такую уйму объявлений, чтобы окупить стоимость мрамора?

– Очень просто: мраморная плита стоит два рубля, а объявление, вечное, несмываемое объявление – двадцать пять рублей!

– Вздор! Кто вам даст объявления?

Кабакевич пожал плечами. Помолчал.

– А впрочем, как хочешь. Не подходит тебе – найду другого компаньона.

– Вздор! – взревел Прягин. – К черту другого компаньона. Но ты скажи мне – кто даст вам объявления?

– Кто? Все. Что нужно для купца? Чтобы его объявление читали. И чтобы читало наибольшее количество людей. А по главным улицам Петербурга ходят миллионы народу за день, некоторые по нескольку раз, и все смотрят себе под ноги. Ясно, что – хочешь, не хочешь, – а какой-нибудь «Гуталин» намозолит прохожему глаза до тошноты.

– Какую же мы прибыль от этого получим? – нерешительно спросил Прягин. – Пустяки какие-нибудь? Тысяч сто, полтора ста?

– Станный ты человек... Ты зарабатываешь полторы тысячи в год и говоришь о ста тысячах, как о пяти копейках. Но могу успокоить тебя: заработаем мы больше.

– Ну, сколько же все-таки? Сколько? Сколько?

– Считай: четыре миллиона квадратных аршин тротуара. Возьмем даже три миллиона (видишь, я беру все минимумы) и помножим на 25 рублей... Сколько получается? 75 миллионов! Хорошо-с. Какие у нас расходы? 30% агентам по сбо-

ру реклам – 25 миллионов. Стоимость плит с работой по вырезыванию на них фирмы – по три рубля... Ну, будем считать даже по четыре рубля – выйдет 16 миллионов! Пусть – больше! Посчитаем даже 20! На подмазку нужных человечков и содержание конторы – миллион. Выходит 46 миллионов. Ладно! Кладем еще на мелкие расходы 4 миллиона... И что же останется в нашу пользу? 25 миллионов чистоганом! Пусть мы не все плиты заполним – пусть половину! Пусть – треть! И тогда у нас будет прибыли 10 миллионов... А? Недурно, Прягин. По 5 миллионов на брата.

Прягин сидел мокрый, полураздавленный.

– Ну, что? – спросил хладнокровно Кабакевич. – Откажешься?

– По... подумаю, – хрипло, чужим голосом сказал Прягин. – Можно до завтра? Ах, черт возьми!..

III

Я вздохнул и заискивающе обратился к Кабакевичу и Прягину:

– Возьмите и меня в компанию...

– Пожалуй, – нерешительно сказал Кабакевич.

– Да зачем же, ведь дело не такое, чтобы требовало многих людей, – возразил Прягин. – Я думаю, и вдвоем управимся.

– Почему же вам меня не взять? Я тоже буду работать... Отчего вам не дать и мне заработочек?

– Нет, – покачал головой Прягин. – Это что ж тогда выйдет? Налезет десять человек, и каждому придется по копейке получить. Нет, не надо.

– Прягин!

Я схватил его за руку и умоляюще закричал:

– Прягин! Примите меня! Мы всегда были с вами в хороших отношениях, считались друзьями. Мой отец спас однажды вашему – жизнь. Возьмите меня!

– Мне даже странно, – криво улыбнулся Прягин. – Вы так странно просите... Нет! Это неудобно.

Я забежал по кабинету, хватаясь за голову и бормоча что-то.

– Прягин! – сказал я, глядя на него воспаленными глазами. – Если так – продайте мне ваше право участия в деле. Хотите десять тысяч?

Он презрительно пожал плечами:

– Десять тысяч! Вы не дурак, я вижу.

– Прягин! Я отдам вам свои двадцать тысяч – все, что у меня есть. Подумайте, Прягин: завтра утром мы едем с вами в банк, и я отдаю вам чистенькие, аккуратно сложенные двадцать тысяч рублей. Подумайте, Прягин: когда вы входили сюда, вы продали бы это дело за три рубля! А теперь – что изменилось в мире? Я предлагаю вам капитал – и вы отказываетесь! Бог его знает, как у вас еще выйдет это дело с тротуарами!.. Городская дума может отказать...

– Не может быть!! – бешено закричал Прягин. – Не смеет!!

Ей это выгодно!!

– Торговые фирмы могут найти такой способ рекламы не достигающим цели...

– Идиотство!! Глупо! Это лучшая в мире реклама! Всякий смотрит себе под ноги и всякий читает ее...

– Прягин! У меня есть богатая тетка... Я возьму у нее еще двадцать тысяч и дам вам сорок... Уступите мне дело!!

– Перестанем говорить об этом, – сухо сказал Прягин. – Довольно!! Кабакевич... я завтра утром у тебя; условимся о подробностях, напишем проект договора...

– А, так!.. – злобно закричал я. – Так вот же вам: сегодня же пойду в одно место, расскажу все и составлю свою компанию... Я у вас из-под носа выдерну это дело!

Я вскочил и побежал к дверям, а Прягин одним прыжком догнал меня, повалил на ковер, уцепившись за горло, и стал душить.

– Нет, ты не уйдешь, негодяй... Каба... кевич... Помо... ги мне!..

Нечаянно, в пылу этой дурацкой борьбы, мои глаза встретились с глазами Прягина, и я прочел в них определенное, страшное, напряженное выражение...

Кабакевич был удивительный человек.

– Прочли, – догадался он, освобождая меня из-под Прягина. – Ну, довольно. У вас разорван галстук. – Не находите ли вы, что кислоты слишком подействовали на лакмусовую бумажку?

– Вот не ожидал я от него этого, – тяжело дыша, проворчал я.

– Ага! – засмеялся старый Кабакевич. – Ага? Прочли? Глаза-то, глаза – видели? Ха! Такую вещь приходится читать не каждый день!..

Революционер

В первый день св. Пасхи к Кутляевым пришел Птицын. Глава семьи Кутляевых был чиновник, и звали его Исидором Конычем, а Птицына называли Васенькой.

Птицын пришел, наряженный в смокинг и лакированные башмаки, с ярким, сверкающим цилиндром в руках.

– А! – закричал весело Кутляев, растопыривая руки. – Васенька! Христос воскрес!

– Здравствуйте, – вежливо поклонился Птицын. – Я, простите, не христосуюсь...

– Почему, Васенька? – кокетливо, склоняя голову набок, спросила жена Кутляева.

Васенька поздоровался с ней, поклонился сидевшей в углу старой тетке, опустил на предложенный стул и, обмахиваясь платочком, сказал:

– Видите ли... Я нахожу этот обычай отжившим. В нем, вы меня извините, нет логики. Будем рассуждать так: почему знакомые целуются при встречах на Пасху и не целуются на Рождество? Вы, конечно, возразите мне, что Пасха – это

праздник любви, торжества и радости. Хорошо-с. Тогда, – спрошу я вас, – а Рождество, чем же хуже Рождество? Чем оно меньше по радости и торжеству? Да и вообще: я понимаю поцелуй как акт физического влечения одного пола к другому, что уже, конечно, есть простое требование природы. А, согласитесь сами, ведь указанных мною элементов в пасхальном поцелуе нет? Ведь нет?

Жена Кутляева задумчиво качнула головой и вздохнула. Муж сказал:

– Пожалуй, это и верно.

– Конечно же, верно!

Васенька говорил серьезно, подыскивая выражения, округляя периоды и внимательно поворачиваясь к собеседнику, который подавал реплику. Собеседник внимательно выслушивался и сейчас же получал ясный, точно сформулированный ответ.

– Хотя, – возразила госпожа Кутляева, – я того мнения, что в этой радости, в этих поцелуях и дружеских объятиях есть что-то весеннее.

– Хорошо-с, – солидно, складывая руки на груди, сказал Васенька. – Хорошо. Но если это так, – то почему же не целоваться в июне или сентябре?

– Что вы говорите?! – вспыхнула Кутляева. – Разве можно?

– Вот то-то и оно. Нужно как можно дальше отходить от нашей затхлой традиции, от всего того, что «все делают».

– Однако, – сказал Кутляев, – вот вы же, Васенька, с визитом пришли?..

Васенька привстал.

– Я могу и уйти, если вам мое посещение не нравится...

– Что вы, что вы! Как вам не стыдно?.. Мы очень рады! Я только к тому говорю, что визиты тоже традиция.

– Да-с! Пошлейшая, никому не нужная традиция! И вот именно поэтому я решил всюду ходить и во всеуслышанье заявлять: господа! Бросьте этот глупый утомительный обычай! Станьте выше! Стремитесь быть сверхчеловеками!

– Вы водку пьете? – спросил Кутляев.

– Что? Какую водку? Ах, водку. Рюмочку я, конечно, выпью, но не потому, что это какой-то там праздник, а просто – небольшое количество алкоголя мне не повредит.

Кутляев налил две рюмки водки, а жена его сказала:

– Если вы, Васенька, это натошак – я вам дам сначала кусочек священного кулича. Хотите?

Васенька резко и строго обернулся к хозяйке.

– Нет-с, Наталья Павловна, не хочу. Нет, не хочу! Согласитесь сами – зачем? Что изменится в нашей будущей жизни от того, если я съем этот кусок желтого сладкого хлеба, а не тот? Если вы мне дадите именно тот, который был обрызган священником? Зачем это? Да и вообще, кулич... Почему вы меня не угощали им, когда я у вас был в декабре? Почему теперь мне должно хотеться, а тогда нет? Согласитесь сами – странно!

– Да бросьте вашу философию, – хлопнул его по плечу хозяин. – Ох, уж эта мне интеллигенция! За ваше здоровье!

– При чем тут здоровье? – поморщился Птицын. – Просто нам с вами хочется выпить – мы и пьем.

– Кулича нашего попробуете? – робко спросила хозяйка.

– Принципиально не попробую, уважаемая Наталья Павловна. Вот в сентябре будут именины вашей дочки, – тогда съем. А есть его сейчас, согласитесь сами, это ordinarily.

Он обвел глазами стол, и взгляд его остановился на высоком куличе, увенчанном тремя сахарными розами и шоколадным барашком с крошечным зеленым флагом.

– Вы простите меня, Наталья Павловна, но... можно мне быть с вами откровенным?

– Пожалуйста, – съжившись, сказала хозяйка.

– Я уж такой человек, что всегда режу правду-матку в глаза! Это самое лучшее. Не правда ли? Скажите: неужели вы серьезно думаете, что эти сахарные розы и этот барашек на что-либо нужны? Ведь вкусу они вашим куличам не придут, а...

– Ах, какой вы критик, – слабо усмехнулась хозяйка. – Я и не знала... На всякий пустяк обращаете внимание... Это сделано так только – для красоты.

Птицын горько улыбнулся.

– Для красоты... Красота – это Рафаэль, Мадонна, Веласкес какой-нибудь! Венера Милосская! Вы извините меня, но я так говорю, потому что считаю вас хорошими, умными

людьми и знаю, что вы не обидитесь... А какая же красота – барашек с рынка стоимостью в пятиалтынный? Ни моего эстетического, ни моего морального чувства такая безвкусная вещь удовлетворить не может.

– Ха-ха! – засмеялся Кутляев, – вот не думал, что у покойного Павла Егорыча такой умный сынок будет. Ай да Васенька! Бог с ними, с барашками... Вы бы еще рюмочку! Красным яичком закусите или поросеночком.

Васенька нахмурился.

– Позвольте быть с вами откровенным: вы их для вкуса покрасили или для красоты?

– Черт его знает, для чего. Взял да и покрасил.

– Я думаю, краска, которой они выкрашены, не безвредна. В таком случае я очень попрошу вас, добрейшая Наталья Павловна, дать мне простое белое яйцо. Оно, правда, не так сияет, но ведь я же и не любоваться на него буду...

Птицын долго ел молча, опустив голову и о чем-то думая.

– Поросенок тоже, – закачал он укоризненно своей широкой черной костистой головой. – Ведь если крашеное кушанье вообще красиво, – почему бы и поросенка не выкрасить в голубой цвет или побронзировать золотым порошком? Однако этого не делают. Правда, для чего-то всунули ему в рот кусок петрушки, но, я думаю, никто этим не будет восторгаться. Всунули просто неизвестно для чего...

– Охота вам, Васенька, петть Лазаря, – нервно перебил его хозяин. – Ну и всунули! Ну и поросенок. Надо же чем-нибудь

великий праздник отметить.

– Так, так, – покачал головой Васенька. – Подъем религиозного чувства знаменуется всовыванием в пасть мертвого животного пучка зелени... Логично!

* * *

В комнату влетел завитой, пронизанный насквозь праздничным настроением блондин, расшаркался и радостно, во всю мочь легких, заорал:

– Христос воскрес! Исидор Коныч, троекратно! Наталья Павловна, троекратно! Мой молодой товарищ, – троек...

– Простите, не целуюсь, – сказал твердо и значительно Птицын. – Устаревший пережиток. Форма без содержания...

– Фу-ты ну-ты, – пропел молодой блондин. – А то бы лобызнулись. Не хотите? Как хотите.

Склонив голову набок и смотря укоризненными глазами на пришедшего, Птицын ехидно спросил:

– Визиты делаете?

Блондин склонил голову направо и юмористически пропищал:

– Визиты делаю! Мученик естества.

– Выпейте чего-нибудь.

– С восторгом в душе! Боже ты мой! Какие красивые яйца!! И зелененькие, и розовенькие. И лиловые!

– Вам нравится? – иронически спросил Птицын. – А мне,

представьте, не нравится. Это не есть вечная красота... Вечная красота – это Рафаэль, Мадонна... Знаменитая статуя Венеры Милосской, находящаяся в одном из зарубежных музеев, – вот что должно нравиться.

– Эх, куда заехали, – засмеялся молодой человек и молящим голосом попросил: – Можно съесть лиловенькое? Мне нравится лиловенькое!

– Да какое угодно, – радушно сказала хозяйка.

– Вечные самообманы в жизни, – печально прогудел Птицын. – Гонимся мы за лиловыми яйцами и забываем, что внутри они такие же, как и красные, как и белые... Слепое человечество!

– Где вы были у заутрени? – спросила хозяйка.

– В десяти местах! Носился как вихрь. Весело, ей-богу! Радостно! Колокола звонят вовсю. Дилим-бом! Бам-бам! То тоненькие. То такие большие густые дяди! Гу-у! Гу-у!

– Красота не в этом, – сказал Птицын, внимательно, по своему обыкновению, выслушав собеседника. – Не в том, что по одному куску металла бьют другим куском металла... И не в том, что яйца красивые и голубые... И не в том, что у вас на сюртуке атласные отвороты. Красота – это Бетховен, симфония какая-нибудь... Кельнский собор! Микеланджело! Слепое человечество...

Хозяйка вздохнула и сказала блондину:

– Садитесь! Чего же вы стоите?

– Мерси. С удовольствием, – расшаркался представитель

слепого человечества.

Повернулся к столу и сел.

– Что вы делаете! – закричал болезненно и пронзительно Птицын. – Вы сели на мой цилиндр!

– Ну? – удивился блондин. – В самом деле!

Птицын вертел в руках сплюснутый, весь в крупных изломах и складках цилиндр и, со слезами в голосе, говорил:

– Ну что теперь делать! Сели на цилиндр. Ну куда он теперь годится... Кто вас просил садиться на мой цилиндр?!

– Я нечаянно, – оправдывался блондин, пряча в усах неудержимое желание рассмеяться. – Да это пустяки. Его можно выпрямить и по-прежнему носить.

– Да-а... – злобно смотря на блондина, плаксиво протянул Птицын. – Сами вы носите! Разве в нем можно показаться на улице?!

– Почему же? – усмехнулся гость. – Красота не в этом. Красота – это Рембрандт, Айвазовский, Шиллер какой-нибудь... Мадонна!

На глазах Птицына стояли слезы бешенства и обиды.

– Полез... Прямо на шляпу!

– Слепое человечество, – захохотал блондин. – Ну, если не хотите так ее носить, я вам заплачу. Ладно?

Птицын сжал губы, получил от блондина пятнадцать рублей и, ни с кем не прощаясь, угрюмо ушел.

Поросенок, держа в зубах пучок зелени, заливался беззвучным смехом.

Призвание

Угадать призвание в человеке, направить его на настоящий путь – что может быть прекраснее этого?

Издатель газеты «Суета сует» критически оглядел мою фигуру и сказал:

– Гм... Что же вы можете у нас делать?.. Гм... Василий Васильевич очень просил за вас, а мне хотелось бы сделать ему приятное. Знаете что? Поступайте к нам на вырезки.

– На вырезки так на вырезки, – равнодушно согласился я. – На какие вырезки?

– Это очень несложное дело. Вы берете пачку только что полученных чужих газет и начинаете проглядывать их, вырезывая ножницами самое интересное и сенсационное. Потом наклеиваете эти вырезки на бумагу и, сопроводив их соответствующими примечаниями, отправляете в типографию. Справитесь с этим?

– Всякий дурак справился бы с этим.

– Ну а вы?

– Тем более я справлюсь, – скромно подтвердил я.

– Ну, с богом.

Я сел на указанное мне место и прилежно занялся своим новым делом. Я читал газеты, резал их ножницами, мазал клеем, наклеивал, приписывал и, хотя устал как собака, но зато с честью выполнил свою задачу.

На другой день утром редактор подошел ко мне и решительно сказал:

– Не делайте больше вырезок!

– Почему?

– Потому что у вас получается черт знает что.

– Рассказывайте! – недоверчиво возразил я. – Приснилось это вам, что ли?

– Нет, не приснилось... Ну посмотрите, что вы навыврезывали! Ну прочтите сами, своими глазами, что напечатано в нашей газете благодаря вам! Можно это допустить?

Я пожал плечами и, развернув газету, просмотрел свою вчерашнюю работу.

«Обзор печати. Газета «Тамбовский голос» сообщает очень интересное сведение: вице-губернатор Мохначев выехал в Петербург. К сожалению, причина выезда этого администратора не указана...

В «Калужских ведомостях» читаем: «Вчера его пр-во господин губернатор присутствовал на панихиде по усопшем правителе канцелярии. Вечером его пр-во отбыл в имение».

Небезынтересное для наших читателей сведение сообщает «Акмолинское эхо»: Акмолинский архиерей собирается в поездку по епархии. Степной генерал-губернатор вчера, по недосугу, обычного приема у себя не делал. Городской голова возвращается 15-го.

«Минскому листку» удалось узнать, что вчера предводитель дворянства праздновал обручение своей дочери с пол-

ковником Дзедушецким. Его сиятельство собирается за границу».

Я внимательно прочел все до конца и спросил редактора:

– А разве плохо?

– Не плохо, а бессмысленно. Кому интересны ваши поездки вице-губернаторов, семейные радости предводителей дворянства и экскурсии архиереев? Неужели кому-нибудь из нас интересно, что акмолинской городской голова вернется 15-го. Начхать нам на него!

– Ну вы поосторожнее... Ведь он все-таки начальство.

– Вы не годитесь для вырезок, – категорически заявил редактор. – Вы слишком раболепны.

– Ну, попробуем что-нибудь другое, – равнодушно согласился я. – В самом деле, вырезки мне не по душе. Дайте мне что-нибудь повыше.

Редактор задумался.

– У нас как раз нет заведующего театром. Хотите попробовать? Вы понимаете что-нибудь в театре?

– Что ж тут понимать? Тут и понимать-то нечего.

– Ну, попробуем вас. Займитесь пока назначением рецензентов в театры на сегодня – кому куда идти. А потом составьте хронику. Ну, с богом.

II

Оставшись один, я первым делом ознакомился с отделом

зрелищ и, после краткого раздумья, решил остановиться на самом интересном:

- 1) опера;
- 2) симфонический концерт;
- 3) борьба.

Когда я разобрал редакционные билеты, ко мне постучались.

– Войдите!

В комнату вошел один из рецензентов.

Он опрокинул попавшееся на его пути кресло, вежливо поклонился портрету Толстого и, обратившись к печке, спросил ее:

– Вы, кажется, заведуете теперь театром? Куда я сегодня должен пойти?

Сразу же я выяснил, что в словах рецензента не было никакой иронии. Просто он был преотчаянно близорук, почти слеп. Когда я окликнул его, он обернулся, наткнулся на другое кресло и, добродушно извинившись, пожал ручку этого кресла.

– Куда мне этого калеку? – пробормотал я. – Хорошие сотрудники, нечего сказать. Ну как я пошлю его куда-нибудь в ответственное место?..

Я выбрал билет похуже и сказал:

– Эй, вы! Вот вам, нате билет на сегодня. Дайте отчет. Да только, смотрите, хорошо!

Он взял билет и побрел обратно, натываясь на все стулья

и путаясь ногами в ковре.

Потом зашел другой рецензент и тоже осведомился насчет вечера.

– Надеюсь, у вас зрение в порядке? – спросил я.

– Что?

– Видите-то вы хорошо?

– Что?!

Я открыл рот и заревел во все горло:

– Я говорю – глаза хорошие?!

Он прислушался к моему голосу и нерешительно отвечал:

– Да уж, если этот дождик зарядит, так держись.

– Какой же вы рецензент, – спросил я, – если вы глухи, как бревно? Зачем вы лезете в это дело, черти вас побери?!

– Были у меня калоши, – печально отвечал рецензент, – да их украл кто-то.

– В оперу я тебя не пошлю, – сказал я вслух, разглядывая его. – Это слишком серьезное дело. Возьми-ка, братец, этот билетик. Это не так опасно...

Он ушел с самым бессмысленным выражением лица, а я позвал третьего рецензента и спросил его:

– Глаза хорошие?

– Прекрасные.

– А уши?

– Помилуйте! Я могу расслышать топот лошади за три версты.

«Вот это настоящий!» – подумал я, удовлетворенный.

– Вот что, голубчик... Берите этот билет и отправляйтесь в театр. Я вам поберег самый лучший.

Он взглянул на билет и нерешительно сказал:

– Должен вам заметить...

– Вы? Мне? Заметить? Этого только не доставало! Кто здесь заведующий? Вы или я? Это я могу вам заметить, а не вы мне. Ступайте!

III

После окончания театров, около двенадцати часов ночи, моя команда съехалась, и через час я имел уже в своих руках три добросовестные талантливые рецензии. Оригинальность замысла сквозила в каждой из них и придавала всем трем ту своеобразную прелесть, которой не найдешь и днем с огнем в других шаблонных измышлениях рецензентов. Рецензии были таковы:

«Французская борьба... Сегодняшняя борьба проходила под аккомпанемент духового оркестра, который, к сожалению, нас совсем не удовлетворил. Ремесленность исполнения, отсутствие властности и такта в дирижерской палочке, некоторая сбивчивость деревянных инструментов в групповых местах и упорное преобладание меди – все это показывало абсолютное неумение дирижера справиться со своей задачей... Отсутствие воздушности, неумелая нюансировка, ло-

манность общей линии, прерываемой нелогичными по смыслу пьесы барабанными ударами, – это не называется серьезным отношением к музыке! Убожество репертуара сквозило в каждой исполняемой вещи... Где прекрасные шумановские откровения, где Григ, где хотя бы наш Чайковский? Разве это можно назвать репертуаром: «Китаянка» сменяется «Ой-рой», а «Ой-ра» – «Хиоватой» – и так три эти вещи до бесконечности. И еще говорят, что серьезная музыка завоевывает себе прочное положение... Ха-ха!»

«Симфонический концерт. Прекрасное помещение, в котором давался отчетный концерт, вполне удовлетворило нас. На эстраде сидела целая уйма музыкантов – я насчитал шестьдесят пять человек. Впрочем, по порядку. Ровно в девять часов вечера на эстраду вышел какой-то человек, раскланялся с публикой и, схватив палочку, стал ею размахивать. Сначала он делал это лениво, еле заметно, а потом разошелся, и палочка сверкала в его руке как бешеная. Он изгибался, вертел во все стороны свободной рукой, вертел палочкой, мотал головой и даже приплясывал. Потом, очевидно, утомился... Палочка снова лениво заколебалась, изогнутая спина выпрямилась, руки поднялись кверху – и он, усталый, положил палочку на пюпитр. Музыканты тогда занялись каждый по своему вкусу: кто натирал канифолью смычок, кто выливал из трубы слюну. Передохнув, снова принялись за прежнее. Начальник размахивал палочкой и плавно, и бешено, и еле заметно, а все не сводили с него глаз, сле-

дя внимательно за его движениями. Через некоторое время симфонический концерт был таким путем закончен, и поднялась невообразимая толкотня публики...»

«Опера. Хорошая погода собрала массу спортсменов. Большое число записавшихся певцов делало невозможным угадывание фаворита, и первый заезд или, как здесь говорят, – акт, – поэтому прошел особенно оживленно. Состязались в первом заезде князь Игорь (камзол красный, рукава синие), княгиня Ярославна (камзол серебристый, рукава белые) и Владимир Галицкий (голубое с черным). Первой весьма заметно стала выдвигаться в дуэтах с Игорем Ярославна, но на прямой Игорь вырвался, стал ее догонять, и к концу дуэта оба пришли голова в голову. Приятное впечатление произвело появление настоящей лошади (гнедая кобыла зав. Битягина, от Васьки и Снежинки, как нам удалось узнать за кулисами, на паддоке). Скакал на ней Игорь (камзол красный, рукава синие)...

IV

На другое утро, когда эти оригинальные, бойкие рецензии появились в свет, редактор подошел ко мне и сказал:

- Можете больше театром не заведывать.
- Неужели нехорошо?..
- Нехорошо?! Вас убить мало за такое распределение ре-

цензентов. Вы послали симфонического рецензента на борьбу! Полуслепой человек, вместо музыки, должен был писать черт знает о чем!! Вы могли на борьбу послать глухого, потому что в борьбе важен не слух, а зрение... Нет! Вам понадобилось погнать его на симфонию, которую он так же слышал, как тот видел борьбу. Спортивного обозревателя вы погнали в оперу, которую он понимает не лучше конюшенного мальчика!! Ну чего же вы молчите?

– Да как же я мог знать, кто из них куда годен!!

– Вы не знали? А я вот знаю, куда и на что вы годны!! О, я это теперь хорошо знаю!!

– Куда? – с любопытством спросил я.

– Идите в редакционные сторожа!! Вы подобострастны, тупы и исполнительны!! Подавайте сотрудникам чай и подметайте по утрам комнаты!!

– Ну хорошо, – согласился я.

Теперь иногда, внося редактору чай на подносе, я с уважением гляжу на этого проницательного человека, вспоминаю свои неудачные шаги в оценке театральных рецензентов и думаю:

«Угадать призвание в человеке, направить его на настоящий путь, – что может быть прекраснее этого?..»

О хороших, в сущности, людях!

Юмор для дураков

Это был солидный господин с легкой склонностью к полноте, с лицом, на котором отражались уверенность в себе и спокойствие, с глазами немного сонными, с манерами, полными достоинства, и с голосом, в котором изредка прорывались ласково-покровительственные нотки.

– Вот вы писатель, – сказал он мне, познакомившись, – писатель-юморист. Так. Наверное, знаете много смешного. Да?..

– О, помилуйте... – скромно возразил я.

– Нечего там скромничать. Расскажите мне какую-нибудь смешную штуку... Я это ужасно люблю.

– Позвольте... Что вы называете «смешной штукой»?

– Ну, что-нибудь такое... юмористическое. Я думаю, вы не ударите лицом в грязь. Слава богу – специалист, кажется! Ну, ну... не скромничайте!

– Видите ли... Я бы мог просто порекомендовать вам прочесть книгу моих рассказов. Но, конечно, не ручаюсь, что вы непременно наткнетесь в них на «смешные штуки».

– Да нет, нет! Вы мне расскажите! Мне хочется послушать, как вы рассказываете... Ну, что-нибудь коротенькое.

Вот, наверное, за бока схватишься!..

Я незаметно пожал плечами и неохотно сказал:

– Ну слушайте... Мать послала маленького сына за гулякой-отцом, который удрал в трактир. Сын вернулся один, без отца, – и на вопрос матери: «Где же отец и что он там делает?» – ответил: «Я его видел в трактире... Он сидит там с пеной у рта». – «Сердится, что ли?» – «Нет, ему подали новую кружку пива».

Не скажу, чтобы эта «смешная штука» была особенно блестящей. Но на какой-нибудь знак внимания со стороны моего нового знакомого я все-таки мог надеяться. Он мог бы засмеяться, или просто безмолвно усмехнуться, или даже, в крайнем случае, покачать одобрительно головой.

Нет. Он поднял на меня ясные, немного сонные глаза и поощрительно спросил:

– Ну?

– Что «ну»?

– Что же дальше?

– Да это все.

– Что же отец... вернулся домой?

– Да это неважно. Вернулся – не вернулся... Все дело в ответе мальчика.

– А что, вы говорите, он ответил?

– Он ответил: отец сидит там с пеной у рта.

– Ну?

– Видите ли... Соль этого анекдота, сочиненного мною,

заключается в том, что мальчик ответил, что называется, буквально. Он видел кружку пива с пеной, кружку, которую отец держал у рта, и поэтому ответил в простоте душевной: «Отец сидит с пеной у рта». А мать думала, что это – фигуральное выражение, сказанное по поводу человека, которого что-нибудь взбесило.

– Фигуральное?

– Да.

– Взбесило?

– Да!

– Ну?

– Что еще такое – «ну»?

– Значит, мать думала, что отец за что-нибудь сердится, а он вовсе не сердится, а просто пьет себе преспокойно пиво.

– Ну да.

– Вот-то ловко! Ха-ха! Ну и здорово же: она думает, что он сердится, а он вовсе и не сердится... Хо-хо! Вообще, знаете, эти трактиры...

– Что-о?..

– Я говорю – трактиры. Если еще холостой человек ходит, так ничего, а уж женатому, да если еще нет средств – так трудновато... Не до трактиров тут. Тут, как говорится, не до жиру, быть бы живу.

Я молчал, глядя на него сурово, с замкнутым видом.

Человек он был, очевидно, вежливый, понимавший, что в благодарность за рассказанное автор имеет право на некото-

рое поощрение.

Поэтому он принялся смеяться:

– Ха-ха-ха! Уморил! Ей-богу, уморил. Папа, говорит, в трактире пену пьет, сердится... А мать-то, мать-то! В каких дурах... О-ох-хо-хо! Ну еще что-нибудь расскажите.

«Э, милый, – подумал я. – Тебя такой вещью не проберешь. Тебе нужно что-нибудь потолще».

– Ну я вас прошу, расскажите еще что-нибудь...

– Ладно. В один ресторан пришел посетитель. Оставив в передней свой зонтик и боясь, чтобы его кто-нибудь не украл, он прикрепил к ручке зонтика такую записку: «Владелец этого зонтика поднимает одной рукой семь пудов... Попробуйте-ка украсть зонтик!» Пообедав, владелец зонтика вышел в переднюю – и что же он видит! Зонтик исчез, а на том месте, где он стоял, приколоты записка: «Я пробегаю в час пятнадцать верст – попробуйте-ка догнать».

Любитель «смешных шуток» поощрительно взглянул на меня и сказал:

– Ну и что же? Догнал он похитителя или нет?

Я вздохнул и начал терпеливо:

– Нет, он его не догнал. Да тут и неважно дальнейшее. Вся соль анекдота заключается именно в курьезном совпадении этих двух записок. Автор первой, видите ли, думал, что он непобедим, рассчитывая на свои здоровые руки, и никак он не рассчитывал, что здоровые ноги гораздо важнее.

– Важнее?

– Да.

– Сколько он там написал, что пробежит в час?

– Пятнадцать верст.

– Это много считается?

– Порядочно.

– А ведь поймай этот первый-то владелец зонтика похитителя в то время, как тот писал записку, он бы ему задал перцу, а? Тут и ноги не помогут, а?

– Не знаю.

– Это, наверное, было давно, я думаю? В прежнее время? Теперь-то ведь в передних ресторанах всюду швейцары, которые и отвечают за пропажу вещей.

– Да.

– Теперь все как-то сделалось культурнее. Положим, раньше-то и воровства было меньше. А?

– Да.

Мы помолчали.

– Вопрос еще, догнал ли бы он похитителя, если бы даже и умел бегать быстрее его. Потому что раньше нужно узнать, в какую сторону он побежал, да не свернул ли с дороги, а то мог просто припрятать зонтик, да и отпереться от всего: «Знать не знаю, ведать не ведаю – никакого зонтика не воровал и никакой записки не писал».

– Да.

По моим сухим, сердитым репликам любитель анекдотов почуял, что я им не совсем доволен, и, решив, по своему

обыкновенно, щедро вознаградить меня смехом, – неожиданно захохотал.

– Ха-ха! Ох-хо-хо! Ну и уморил. Выходит он – где зонтик? Хвать-похвать, ан зонтика-то и нет. Ну и ловкие ребята бывают. Прямо-таки пальца в рот не клади. И откуда вы столько смешных штукек знаете?! Ну расскажите еще что-нибудь. Ну, пожалуйста, ну, миленький...

– Рассказать? – прищурился я. – Извольте! Один господин, явившись на обед к родителям своей невесты и страдая от тесной обуви, снял потихоньку под столом с ноги башмак, но в это время собачонка схватила башмак да бежать, а жених испугался, вскочил, опрокинул стол, причем миска с горячим супом опрокинулась на тещу, – и помчался за собачонкой. По дороге он разбил дорогую вазу, а потом, желая достать для разутой ноги какой-нибудь башмак, ударил тестя ногой в живот, повалил его и стал стаскивать с ноги ботинок. Но оказалось, что у тестя одна нога была искусственная, и вдруг она отрывается вместе с ботинком, и наш жених грохается на пол, обрывая портьеру; но в это время собачонка, с башмаком во рту...

Дальше я не мог продолжать: нечеловеческий страшный хохот душил моего нового знакомого. Он буквально катался по дивану, отмахиваясь руками, ногами, задыхаясь и кашля. Лицо побагровело, и на глазах выступили слезы.

– О-ох, – визжал он тонким голосом. – Довольно! Ради бога, довольно! Вы меня убьете вашим рассказом!..



Раньше я не понимал: для чего и кому нужны десятки тысяч метров кинематографических лент, на которых изображены: солдат, попавший в барабан и заснувший там; рассеянный прохожий, опрокидывающий на своем пути детские колясочки и влюбленные парочки; свадебный обед, участникам которого шутник насыпает за ворот «порошок для чесания», молодой человек, которого кусает блоха во время объяснения с невестой и который начинает бегать по комнате, ловя эту блоху; пьяный, залезший в матрац и катающийся в таком положении по людной улице, — для чего и кому все это нужно? — Я не понимал.

Теперь — понимаю.

Одиннадцать слонов

I

Схватив меня за руку, Стряпухин быстро спросил:

— В котором ухе звенит? Ну! Ну! Скорее!!

— У кого звенит в ухе? — удивился я.

— Да у меня! Ах ты, господи! У меня же!! Скорее! Говори!

Я прислушался.

– В котором? Что-то я не слышу... А ты сам сразу не можешь разобрать?

– Да ты угадай, понимаешь? Угадай! Какой ты бестолковый!..

– Да угадать-то нетрудно, – согласился я. – Если бы ушей было много – ну, тогда другое дело... А то два уха – это пустяки. Левое, что ли?

– Верно, молодец!

Я самодовольно улыбнулся.

– Еще бы! Я могу это – и вообще... многое другое... А зачем тебе нужно было, чтобы я угадал?..

– А как же! Такая примета есть... Я что-то задумал. Если ты угадал, значит, исполнится.

– А что ты задумал?

– Нельзя сказать. Если скажу – оно не исполнится.

– Откуда ты знаешь?

– Такая примета есть.

– Ну тогда прощай, – проворчал я, немного обиженный. – Пойду домой.

– Уже уходишь? Да который теперь час?

– Не могу сказать, – упрямо ухмыльнулся я.

– Почему?

– Такая примета есть.

Его лицо выразило беспокойство.

– Неужели есть такая примета?

– Еще бы... Самая верная. Несчастье приносит.

– А ты знаешь, я ведь часто отвечал на вопрос: «Который час?»

– Ну вот, – улыбнулся я зловеще. – И пеняй сам на себя. Обязательно это к худу.

Он призадумался:

– Постой, постой... И верно ведь! Вчера у меня шапку украли в театре.

– Каракулевую? – спросил я.

– Нет, котиковую.

– Ну тогда это ничего.

– А что?

– Примета такая есть. Пропажа котиковой шапки – в доме радость.

Он даже не спросил: в чьем доме радость – в его или воровском. Просиял.

– Я тоже с тобой выйду. Прислуга побежала за ворота – дай я тебе пальто подержу.

Я натянул с его помощью пальто, а когда он снял с вешалки свое, я сказал:

– Ты прости, но я тебе тем же услужить не могу.

– Почему?

– Такая примета есть: если гость хозяину пальто подает – в доме умереть должны.

Стряпухин отскочил от меня и наскоро натянул в углу сам на себя пальто.

Когда мы шагали по улице, он задумчиво сказал:

– Да, приметы есть удивительные. Есть счастливые, есть несчастливые. Но на днях я узнал удивительную штуку, которая приносит счастье и застраховывает от всяких неудач.

– Это еще что?

– Слоны. Одиннадцать слонов. Нужно купить одиннадцать штук от самого большого до самого маленького и держать их в доме. Поразительная примета.

– Что ж ты, уже купил их?

– Девять штук. Двух еще нет. Самых больших. Да они дорогие, большие-то. Рублей по тридцати... Кстати, ты не можешь одолжить мне пятьдесят рублей? Я бы завтра комплект уже имел.

– Что ты! Разве можно одалживать деньги в пятницу?! Есть такая приме...

– Да сегодня разве пятница? Нынче ведь четверг, – возразил он.

Сначала я растерялся, а потом улыбнулся с видом превосходства.

– Я знаю, что четверг. Но ведь четверг – это у нас?

– Ну да.

– А в Индии-то что теперь? Пятница!

– Пятница, – машинально подтвердил он, приоткрыв от недоумения рот.

– Ну вот. А слоны-то ведь индийские?

– Какие слоны?

– Да которых ты собираешься покупать!

– Предположим.

– То-то и оно. Как же можно в пятницу деньги давать взаимы? Несчастье... Страшная примета есть.

Он замолчал.

II

Стряпухин исчез на долгое время. Но однажды пришел ко мне расстроенный, с явными признаками на лице и в костюме целого ряда жизненных неудач.

– Эге, – сочувственно встретил я его. – Твои дела, вижу, неважные. Как поживаешь?

– Да, брат, плохо... У жены чахотка.

– Гнусная вещь, – согласился я. – Впрочем, вези ее на юг. Теперь это легко поправить можно.

– Да откуда же я денег-то возьму?

– А у жены-то были ведь деньги... я знаю... Несколько тысконок.

– Были да сплыли. На бирже проиграл.

– Эх, ты, Фалалей! Ну, на службе возьми аванс.

– Хватился! Со службы уволили. За биржевую игру. Вы, говорят, еще наши деньги проиграете, казенные.

– Однако! А что же твой дядя какой-то? Помнишь, ты говорил: собирался умереть и тебе дом оставить.

– Да и умер. Только не тот дядя, а другой. Вдовец с двумя детьми. Детей мне оставил... Прямо беда!

– Так ты бы продал что-нибудь из обстановки... У тебя ведь обстановка хорошая, я помню, была...

Он тоскливым взглядом посмотрел на меня.

– Продано, брат. Почти все. Кроме слонов.

– Каких слонов? – удивился я.

– Да тех, что я, помнишь, говорил.

– А они дорогие?

– Рублей полтора ста...

– Так ты бы их и пустил в оборот. Это ведь жене месяц жизни в Крыму.

Стряпухин откинулся назад и всплеснул руками:

– Что ты! Как же я могу их продать, когда они приносят счастье!

III

Я долго прохаживался по кабинету, бормоча себе под нос всякие рассуждения.

Остановился перед Стряпухиным и сказал:

– Дурак ты, дурак, братец!

– Почему?

– Такая примета есть.

Он бледно, насильственно улыбнулся.

– Вот ты теперь уже и ругаешься. Ругаться-то легко.

– И ругаюсь! Обрати внимание: не было у тебя этих слонов – жена была здорова, деньги в банке лежали, и служба была.

Появились слоны, которые, ты говорил, счастье приносят, — и что же?

— А ведь верно! — охнул он, побледнев. — Я совсем не обратил на это внимания... Действительно... Знаешь, тут есть какой-то секрет. Может быть, не одиннадцать слонов нужно, а какое-нибудь другое количество?

Я кивнул головой:

— Весьма возможно... И может быть, нужно было не слонов покупать, а каких-нибудь верблюдов или зайцев.

— А в самом деле! — ахнул он, приоткрыв по своей привычке от изумления рот.

— И может быть, не покупать их, а украсть нужно было...

— Да, да!..

— ...и держать не в доме, а в погребе.

Оба мы замолчали. Он поднял опущенную голову и несмело спросил:

— Ну, как ты думаешь — верблюда или зайца?

Я пожал плечами:

— Конечно, верблюда.

— Почему?

— Примета такая есть.

— А сколько их надо?..

— Тридцать восемь штук.

— Ого! — с оттенком уважения в голосе пробормотал Стряпухин. — Вот это число! Что же их... покупать нужно?

— Украсть! Только украсть! И держать в погребе на бочке

с огурцами. Такая примета есть.

Он внимательно разглядывал выражение лица моего, и в глазах его я прочел легкое колебание.

– Что это ты?... – робко заметил он. – Не то говоришь серьезно... не то насмехаешься надо мной.

Я горячо воскликнул:

– Что ты, что ты! Я говорю совершенно серьезно. Слоны ведь тебе не помогли, а? Одиннадцать слонов мал мала меньше. Ведь не помогли? Так?

– Не помогли, – вздохнул он.

– Ну вот! Попробуем верблюдов. Тридцать восемь верблюдов! Не купим их, а стащим в магазине: это и дешевле и практичнее. Поставим в погреб и посмотрим – не повернется ли фортуна к тебе лицом? Если все будет по-прежнему плохо – верблюдов к черту, купим лисиц или лягушек, индийских болванчиков, крокодилов, черта, дьявола лысого купим! Попробуем покупать по семнадцать, по тридцать три, по шестьдесят штук, будем держать их под полом, на крыше, в печной трубе – все испробуем, все испытаем!! Как только тебе повезет – стоп! Вот, значит, скажем мы, это и есть настоящая примета!

– Да ты это... серьезно?

– А то как же, братец? Слоны твои провалились – нужно искать других путей. Какой-то немец-профессор сделал свыше девятисот комбинаций лекарства, пока не наткнулся на настоящую. У нас будет девять тысяч комбинаций – но ни-

чего! Ведь он открывал только новое лекарство, а мы ищем секрет счастья... Разрешить проблему счастья – такая это великая миссия!!

– Да ведь этак всю жизнь провозишься...

– А ты что же думал? И провозишься.

Он устало опустил голову.

– Боже, как все это неопределенно... А может быть, вся штука в том, что слонов нужно не одиннадцать, а двенадцать. Прикупим еще одного...

– Может быть! Жаль, что это не ослы. Если бы ты имел одиннадцать ослов, – то двенадцатого и прикупать бы не стоило.

С видом человека, окончательно запутавшегося в сложной тине жизни, он поднял на меня глаза:

– Почему?

IV

Уходя, он небрежно спросил, боясь выказать интерес к ответу и вызвать тем новые мои насмешки:

– Сколько, ты сказал, верблюдов?

– Тридцать восемь, – ехидно улыбнулся я. – Думаешь купить?

– Нет, не то. А вот нужно бы запомнить цифру тридцать восемь. Буду нынче в клубе, возьму карту лото с этой цифрой.

– Ага! Ты и этим занимаешься? Что же, везет?

– Пока нет.

И в глазах его светилось отчаяние.

– Почему? – допрашивал я безжалостно. – На какую, например, цифру ты вчера брал карту?

– Восемьдесят шесть. Счастливое число. Мой кузен Гриша на эту цифру в лотерею корову выиграл.

– Значит, и ты выиграл?!!

– Нет, – робко прошептал он, запуганный моим криком, моими оскорблениями, моей иронией.

Я схватил его за шиворот.

– Так как же ты, каналья, находишь это число счастливым?!

– Постой... Пусти! Я бы, может быть, и выиграл, а только, уходя из дому, забыл ключ и с дороги вернулся. А это считается очень нехорошо. Примета...

* * *

Рассказанную мною правдивую историю я считаю очень нравоучительной.

Тем не менее я уверен, что среди моих читателей найдется пара-другая людей, которые запомнят цифры 38 и 86.

И подумают они: «Что ты там себе ни говори, а мы на эти цифры возьмем карточку и сыграем в лото».

Так и быть, сообщу я для них еще одну, самую верную

счастливую цифру: 59.

Играйте на нее... Замечательная цифра.

А проиграете, – значит, покойника встретили или кошка дорогу перебежала.

Так вам и надо! Мне все равно вас не жаль.

Наслаждение жизнью

I

Скупость – одно, а бережливость – совсем другое: насколько мы все относимся с брезгливостью и презрением к скупому человеку, настолько мы обязаны относиться с уважением к человеку бережливому, к человеку, который не повесится из-за копейки, но и не швырнет ни за что даром, куда попало, лишний рубль.

Именно о таком человеке, о студенте ветеринарного института, неизвестном мне по фамилии, – и расскажу я.

Зайдя однажды жарким днем в прохладную полутемную пивную, я сел за угловой столик и потребовал себе пива.

Кроме меня, в пивной сидели за целой батареей бутылок два студента: ветеринар – бережливый и универсант – простой, обыкновенный, безличный.

Вели они такой разговор.

– А вот ты не разобьешь еще один бокал, – говорил безличный студент, улыбаясь с самым провокаторским видом. – Ни за что не разобьешь.

– Я? Не разобью?

– Конечно, не разобьешь. Где тебе!..

– А как же я первый стакан разбил?..

– Ну, первый ты разбил нечаянно... Это что! Это всякий может разбить. А ты специально разбей.

Ветеринар с минуту подумал.

– Нешто разбить? Постой... Эй, человек!

Бледный тупой слуга, с окаменевшим от скуки и бессонницы лицом, приблизился...

– Послушай, человек... Сколько вы берете за стакан, если его разбить?

– Десять копеек.

– Только-то?! Господи! А я думал, полтинник или еще больше. Да за эти деньги я могу хоть шесть стаканов разбить...

На столе стояли четыре стакана, до половины наполненные темным и светлым пивом.

– Эхе! – сказал ветеринар. – Позволить себе, что ли?

И легким движением руки сбросил стаканы на пол.

– Сорок копеек, – автоматически отметил слуга.

– Черт с ним, – залихватски сказал ветеринар. – Плачивали и побольше. Люблю кутнуть!

Потом в голову ему пришла какая-то другая мысль.

– Эй, человеке! А пустую бутылку если разбить – сколько стоит?

– Пять копеек-с.

Ветеринар приятно изумился:

– Смотри, как странно: маленький стакан – гривенник, большая бутылка – пятак.

– А вот ты не разобьешь сразу шесть бутылок, – усмехнулся безличный студент.

– Я? Не разобью?..

– Конечно. Где тебе!

– Шесть бутылок? Плохо ж ты меня знаешь! Эхма!

Со звоном, треском и лязгом полетели бутылки на пол.

Хозяин вышел из-за стойки и упрекнул:

– Нельзя, господа студенты, безобразить. Что же это такое – посуду бить!..

– Вы не бойтесь, мы заплатим, – успокоительно сказал ветеринар.

– Я не к тому, а вот посетителю, может быть, беспокойно.

Я пожал плечами:

– Мне все равно.

– Мерси, – общительно обратился ко мне студент. – Вы подумайте, какая дешевка: гривенник за бокал!

– Да, – подтвердил его товарищ. – Хоть целый день бей.

– В дорогом ресторане не очень-то разойдешься, – сказал ветеринар с видом экономной хозяйки, страдающей от дороговизны продуктов для стряпни. – Дерут там, наверное, семь

шкур. Хм!.. А тут – гривенник.

Он повертел в руках стакан, подробно осмотрел его и бросил на пол.

– Во французском ресторане за бокал с вас рупь возьмут, – отозвался из-за стойки хозяин.

– Подумайте, а? А тут за эти деньги десять разбить можно. Брось, Миша, свой стакан... Чего там! В кои веки разойдешься... Вот так... Молодец. Человек! Еще полдесяточка.

Нельзя сказать, чтобы у амфитриона был вид беззаботного пьяного кутилы, безрассудно крушащего все на своем пути. Было заметно, что он не выходит из бюджета, доставляя себе и своему другу только ту порцию удовольствия, которую позволяли средства.

– Человек! Сколько за посуду?

– Девяносто копеек.

– Вот тебе – видишь, Миша! А ты говорил: «Пойдем в ресторан». Там бы с нас содрали... Хо-хо! А тут... Девяносто? Получай рубль. Постой... Дай-ка еще стакан... Ну вот. Теперь сдачи не надо. Ровно рубль.

Довольный, он откинулся на спинку стула и с благодушным видом стал осматривать комнату.

II

Пошептавшись с товарищем, ветеринар встал, подошел к стойке и спросил хозяина:

– Сколько этот увражик стоит?

«Увражиком» он назвал гипсового раскрашенного негра высотой в аршин, стоявшего на стойке и держащего в руках какую-то корзину.

– Это-с? Четыре рубля.

– Да что вы! В уме ли? За такую чепуху – четыре рубля!

– Помилуйте – настоящий негр.

– Какой он там настоящий!.. Тут, я думаю, матерьялу не больше чем на целковый...

– А работа-с? Не цените?

– Ну и работа – целковый. Предовольно с вас будет два рублика. Хотите?

– Не могу-с. Обратите внимание на глаза – белки-то... вво! Материал? Настоящий гипс!

– Ну – два с полтиной. Никто вам за него больше не даст. Негритишка-то подержанный.

– Помилуйте, это и ценится: старинная вещь – третий год стоит. Обратите внимание на фартук – настоящего голубого цвета.

– Вы отвлекаетесь, хозяин. Хотите три рубля? Больше – ей-ей гроша не дам. Миша, как ты думаешь?

– Конечно, уступите, – отозвался Миша. – Чего там! Другого купите, лучше этого.

– Ну знаете что, – сказал хозяин. – Ладно. Три с полтиной – забирайте.

– За этого негра?! – фальшиво удивился ветеринар. – Ну,

знаете ли. Еще вопрос – настоящий ли это гипс?! Вы бы еще пять рублей запросили... ха-ха! Берете три? А то и не надо – в другом месте дешевле уступят.

– Да накиньте хоть двугривенный, – простонал корыстолюбивый хозяин.

– Позвольте-ка, я его еще осмотрю. Гм! Ну ладно. Куда ни шел еще двугривенный. Верно, Миша?

– Верно.

– Значит – три двадцать?

– Три двадцать.

– Эхма! – дико вскричал ветеринар, поднимая над головой негра. – Кутить так кутить. Ур-ра!

Он хватил негра об пол, оттолкнул ногой подкатившуюся к нему гипсовую голову и вынул из кармана кошелек.

– Дайте с пяти рублей сдачи.

Потом он расплачивался со слугой за пиво.

– Сколько?

– Два с полтиной.

Он повертел в руках трехрублевую бумажку и наклонился к товарищу:

– Я думаю, ему за два с полтиной – полтинник на чай – много?

– Много, – кивнул головой товарищ. – Нужно десять процентов.

– Верно. Постой... (Оопустив голову, он погрузился в ка-

кие-то расчеты.) Ну вот!

Он смел рукой на пол два стакана, бутылку и отдал слуге три рубля.

– Теперь правильно и сдачи не надо. Пойдем, Миша.

И они ушли оба, напялив на лохматые головы фуражки, – тот, что казался безличным, – универсанта Миша, и ветеринар – бережливый, хозяйственный человек, рассчитывающий каждый грош.

Фат

Подслушивать – стыдно.

Отделение первого класса в вагоне Финляндской железной дороги было совершенно пусто.

Я развернул газету, улегся на крайний у стены диван и, придвинувшись ближе к окну, погрузился в чтение.

С другой стороны хлопнула дверь, и сейчас же я услышал голоса двух вошедших в отделение дам:

– Ну вот видите... Тут совершенно пусто. Я вам говорила, что крайний вагон совсем пустой... По крайней мере, можем держать себя совершенно свободно. Садитесь вот сюда. Вы заметили, как на меня посмотрел этот черный офицер на перроне?

Бархатное контральто ответило:

– Да... В нем что-то есть.

– Могли бы вы с таким человеком изменить мужу?

– Что вы, что вы! – возмутилось контрольно. – Разве можно задавать такие вопросы?! А в-третьих, я бы никогда ни с кем не изменила своему мужу!!

– А я бы, знаете... изменила. Ей-богу. Чего там, – с подкупающей искренностью сознался другой голос, повыше. – Неужели вы в таком восторге от мужа? Он, мне кажется, не из особенных. Вы меня простите, Елена Григорьевна!..

– О, пожалуйста, пожалуйста. Но дело тут не в восторге. А в том, что я твердо помню, что такое долг!

– Да ну-у?..

– Честное слово. Я умерла бы от стыда, если бы что–нибудь подобное могло случиться. И потом, мне кажется таким ужасным одно это понятие: «измена мужу»!

– Ну, понятие как понятие. Не хуже других.

И, помолчав, этот же голос сказал с невыразимым лукавством:

– А я знаю кого-то, кто от вас просто без ума!

– А я даже знать не хочу. Кто это? Синицын?

– Нет, не Синицын!

– А кто же? Ну, голубушка... Кто?

– Мукосеев.

– Ах, этот...

– Вы меня простите, милая Елена Григорьевна, но я не понимаю вашего равнодушного тона... Ну можно ли сказать про Мукосеева: «Ах, этот»... Красавец, зарабатывает, размашистая натура, успех у женщин поразительный.

– Нет, нет... ни за что!

– Что «ни за что»?

– Не изменю мужу. Тем более с ним.

– Почему же «тем более»?

– Да так. Во-вторых, он за всеми юбками бегает. Его любить, я думаю, одно мученье.

– Да ежели вы к нему отнесетесь благосклонно – он ни за какой юбкой не побежит.

– Нет, не надо. И потом он уж чересчур избалован успехом. Такие люди капризничают, ломаются...

– Да что вы говорите такое! Это дурак только способен ломаться, а Николай Алексеевич умный человек. Я бы на вашем месте...

– Не надо!! И не говорите мне ничего. Человек, который ночи проводит в ресторанах, пьет, играет в карты...

– Милая моя! Да что же он, должен дома сидеть да чулки вязать? Молодой человек...

– И не молодой он вовсе! У него уже темя просвечивает...

– Где оно там просвечивает... А если и просвечивает, так это не от старости. Просто молодой человек любил, жил, видел свет...

Контральто помедлило немного и потом, после раздумья, бросило категорически:

– Нет! Уж вы о нем мне не говорите. Никогда бы я не могла полюбить такого человека... И в-третьих, он фат!

– Он... фат? Миленькая Елена Григорьевна, что вы гово-

рите? Да вы знаете, что такое фат?

– Фат, фат и фат! Вы бы посмотрели, какое у него белье, – прямо как у шансонетной певицы!.. Черное, шелковое – чуть не с кружевами... А вы говорите – не фат! Да я...

* * *

И сразу оба голоса замолчали: и контральто, и тот, что повыше. Как будто кто ножницами нитку обрезал. И молчали оба голоса так минут шесть-семь, до самой станции, когда поезд остановился.

И вышли контральто и сопрано молча, не глядя друг на друга и не заметив меня, прижавшегося к углу дивана...

Сельскохозяйственный рассказ

Мы – любимая мною женщина и я – вышли из лесу, подошли к обрыву и замерли в немом благоговейном восхищении.

Я нашел ее руку и тихо сжал в своей.

Потом прошептал:

– Как хорошо вышло, что мы заблудились в лесу... Не заблудись мы – никогда бы нам не пришлось наткнуться на эту красоту. Погляди-ка, каким чудесным пятном на сочном темно-зеленом фоне выделяется эта белая рубаша мальчишки-рыболова. А река – какая чудесная голубая лента!..

– О, молчи, молчи, – шепнула она, прижимаясь щекой к моему плечу.

И мы погрузились в молчаливое созерцание...

– Это еще что такое? Кто такие? Вы чего тут делаете? – раздался пискливый голос за нашими спинами.

– Ах!

Около нас стоял маленький человек в чесучовом пиджаке и в черных длиннейших, покрытых до колен пылью брюках, которые чудовищно широкими складками ложились на маленькие сапоги.

Глаза неприязненно шныряли по сторонам из-под дымчатых очков, а бурые волосы бахромой прилипли к громадному вспотевшему лбу. Жокейская фуражечка сбилась на затылок, а в маленьких руках прыгал и извивался, как живой, желтый хлыст.

– Вы зачем здесь? Что вы тут делаете? А? Почему такое?

– Да вам-то какое дело? – грубо оборвал я.

– Это мне нравится! – злобно-торжествующе всплеснул он руками. – «Мне какое дело!?» Да земля-то эта чья? Лес-то это чей? Речушка эта – чья? Обрыв этот – китайского короля, что ли? Мой!! Все мое.

– Очень возможно, – сухо возразил я, – но мы ведь не съедим всего этого?

– Еще бы вы съели, еще бы съели! А разве по чужой-то земле можно ходить?

– А вы бы на ней написали, что она ваша.

– Да как же на ней написать?

– Да вот так по земле бы и расписали, как на географических картах пишется: «Земля Черт Иваныча».

– Ага! Черт Иваныча? Так зачем же вы приехали к Черту Иванычу?!

– Мы заблудились.

– «Заблудились»!.. Если люди заблудятся, они сейчас же ищут способ найти настоящую дорогу, а вы вместо этого целых полчаса видом любовались.

– Да скажите, пожалуйста, – с сердцем огрызнулся я, – что, вам какой-нибудь убыток от того, что мы полюбовались вашим пейзажем?..

– Не убыток, но ведь и прибыли никакой я пока не вижу...

– Господи! Да какую же вам нужно прибыль?!

– Позвольте, молодой человек, позвольте, – пропищал он, усаживаясь на не замеченную нами до тех пор скамейку, скрытую в сиреневых кустах. – Как это вы так рассуждаете?.. Эта земля, эта река, эта вот рощица мне при покупке – стоила денег?

– Ну стоила.

– Так. Вы теперь от созерцания ее получаете совершенно определенное удовольствие или не получаете?

– Да что ж... Вид, нужно сознаться, очаровательный.

– Ага! Так почему же вы можете прийти, когда вам заблагорассудится, стать столбом и начать восхищаться всем

этим?! Почему вы, когда приходите в театр посмотреть красивую пьесу или балет, – вы платите антрепренеру деньги? Какая разница? Почему то зрелище стоит денег, а это не стоит?

– Сравнили! Там очень солидные суммы затрачены на постановку, декорации, плату актерам...

– Да тут-то, тут – это вот все мне даром досталось, что ли? Я денег не платил? «Актеры»! Я тоже понимаю, что красиво, что некрасиво: вон тот мальчишка на противоположном берегу, белым пятном выделяется на фоне сочной темной зелени – это красиво! Верно... Пятно! Да ведь я этому пятну жалованье-то шесть рублей в месяц плачу или не плачу?

Я возразил, нетерпеливо дернув плечом:

– Не за то же вы ему платите жалованье, чтобы он выделялся на темно-зеленом фоне?

– Верно. Он у меня кучеренок. Да ведь рубашка-то эта от меня дадена, или как? Да если бы он, паршивец, в розовой или оранжевой рубашке рыбу удил – ведь он бы вам весь пейзаж испортил. Было бы разве такое пятно?

– Послушайте, вы, – сказал я, выйдя из себя. – Что вам надо? Чего вы хотите? Я стою здесь с этой дамой и люблюсь видом, расстилающимся перед нами. Это ваш вид? Вы за него хотите получить деньги? Пожалуйста, подайте нам счет!!

– И подам! – выпятил он грудь, с видом общипанного, но бодрящегося петуха. – И подам!

– Ну вот. Самое лучшее. А сейчас оставьте нас в покое. Дайте нам быть одним. Когда нужно будет, мы позовем.

Ворча что-то себе под нос, он криво поклонился моей спутнице, развел руками и исчез в кустах.

II

Хотя настроение уже было сбито, скомкано, растоптано, но я попытался овладеть собой:

– Ушел? Ну и слава богу. Вот навязчивое животное. А хорошо тут... Действительно замечательно! Посмотри, милая, на этот перелесок. Он в теневых местах кажется совсем голубым, а по голубому разбросаны какие пышные, какие горячие желтые пятна освещенных солнцем ветвей. А полюбуюсь, как чудесно вьется эта белая полоска дороги среди буйной разноцветной вакханалии полевых цветов. И как уютна, как хороша вон та красная крыша домика, белая стена которого так ослепительно сверкает на солнце. Домик – он как-то успокаивает, он как-то подчеркивает, что это не безотрадная пустыня... И эта, как будто вырезанная на горизонте, потемневшая серая мельница... Ее крылья так лениво шевелятся в ленивом воздухе, что самому хочется лечь в траву и глядеть так долго-долго, ни о чем не думая... И вдыхать этот головокружительный медовый запах цветов.

Мы долго стояли, притихшие, замороженные.

III

– Пойдем... Пора, – тихо шепнула мне моя спутница.

– Сейчас. Эй, человек, – насмешливо крикнул я. – Счет!

Тотчас же послышался сзади нас треск кустов, и мы снова увидели нелепого землевладельца, который подходил к нам, размахивая какой-то бумажкой.

– Готов счет? – дерзко крикнул я.

– Готов, – сухо отвечал он. – Вот, извольте.

На бумажке стояло:

СЧЕТ

от помещика Кокуркова на виды местности, расположенной на его земле, купленной у купца Семипалова по купчей крепости, явленной у нотариуса Безбородько.

За стояние у обрыва, покрытого цветами, испускающими головокружительный медовый запах – 2 руб. ____ к.

Река, так называемая голубая лента – 1 руб. ____ к.

Яркое белое пятно мальчика на темно-зеленом фоне кустов – __ руб. 50 к.

Голубой перелесок, покрытый желтыми пятнами, ввиду дальности расстояния на сумму – __ руб. 30 к.

Белая полоска дороги, среди буйной вакханалии цветов; в общем за все – __ руб. 60 к.

Успокаивающий ослепительный домик с уютной красной крышей, подчеркивающий, что это не безотрадная пустыня – 1 руб. 70 к.

Потемневшая серая мельница крестьянина Кривых, будто вырезанная на горизонте (настоящая! Это так

только кажется) — __ руб. 70 к.

Итого всего вида на — 6 руб. 60 к.

Скривив губы, я педантически проверил счет и заявил, придавая своим словам оттенок презрения:

— К счету приписано.

— Где? Где? Не может быть.

— Да вот вы под шумок ввернули тут семь гривен за мельницу какого-то крестьянина Кривых. Ведь это не ваша мельница, а Кривых... Как же вы так это, а?

— Позвольте-с! Да она только с этого обрыва и хороша. А подойдите ближе — чепуха, дрянь, корявая мельничонка.

— Да ведь не ваша же?

— Да я ведь вам и не ее самое продаю, а только вид на нее. Вид отсюда. Понимэ? Это разница. Ей от этого не убудет, а вы получили удовольствие...

— Э, э! Это что такое? За этот паршивый домишко вы поставили полтора рубля?! Это грабеж, знаете ли.

— Помилуйте! Чудесный домик. Вы сами же говорили: «Домик, он как-то успокаивает, как-то подчеркивает...»

— Черт его знает, что он там подчеркивает, только за него вы три шкуры дерете. Предовольно с вас и целковый.

— Не могу. Верьте совести, не могу. Обратите внимание, как белая стена ослепительно сверкает на солнце. И не только сверкает, но и подчеркивает, что это не безотрадная пу-

стыня. Мало вам этого?

Я решил вытянуть из него жилы.

– И за дорогу содрали. Разве это цена – шесть гривен? Мы на нее почти и не смотрели. Скверная дорожка, кривая какая-то.

– Да ведь тут за все вместе: и за дорогу, и за буйную вакханалию цветов. Извольте обратить ваше внимание: ежели оценить по-настоящему вакханалию, то на дорогу не больше двугривенного придется. Пусть вам в другом месте покажут такую дорогу за двугривенный с обрыва...

Я повернул счет в руках и придиричливо заявил:

– Нет, я этого счета не могу оплатить.

– Почему же-с? Как смотреть, так можно, а платить – так в кусты?!

– Счет не по форме. Должен быть оплачен гербовым сбором.

– Да-с? Вы так думаете? Это по какому такому закону?

– По обыкновенному. Счета на сумму свыше пяти рублей должны быть оплачены гербовым сбором.

– Ах, вы вот как заговорили?! Пожалуйста! Вычеркиваю вам мельницу крестьянина Кривых и речку. Черт с ней, все равно, зря течет. А уж четыре девяносто – это вы мне подайте.

Вот вам и Черт Иваныч!

Я вынул кошелек, сунул ему в руку пятирублевую бумажку и, сделав величественный жест: «Сдачи не надо», взял

свою спутницу под руку.

По дороге от обрыва мы наткнулись на очень красивую пышную липу, но я уж воздержался от выражения громогласного восторга.

Слабая струна

Я сидел у Красавиных. Горничная пришла и сказала:

– Вас к телефону просят.

Я удивился:

– Меня? Это ошибка. Кто меня может просить, если я никому не говорил, что буду здесь!

– Не знаю-с.

Я вышел в переднюю, снял телефонную трубку и с любопытством приложил ее к уху:

– Алло! Кто говорит?

– Это я, Чебаков. Послушай, мы сейчас в «Альгамбре» и ждем тебя. Приезжай.

Я отвечал:

– Во-первых, приехать я не могу, так как должен возвратиться домой; дома никого нет, и даже прислуга отпущена в больницу; а во-вторых – кто тебе мог сказать, что я сейчас у Красавиных?

– Врешь, врешь! Как же так у тебя дома никого нет, когда из дому мне и ответили по телефону, что ты здесь.

– Не знаю! Может быть, я сошел с ума, или ты меня ми-

стифицируешь... Квартира заперта на ключ, и ключ у меня в кармане. Кто с тобой говорил?

– Понятия не имею. Какой-то незнакомый мужской голос. Прямо сказал: «Он сейчас у Красавиных»... И сейчас же повесил трубку. Я думал – твой родственник...

– Непостижимо!! Сейчас же лечу домой. Через двадцать минут все узнаю.

– Пока ты еще доберешься домой, – возразил заинтересованный Чебаков. – Ты лучше сейчас позвони к себе. Тогда сейчас же узнаешь.

С лихорадочной поспешностью я дал отбой, вызвал центральную и попросил номер своей квартиры.

Через полминуты после звонка кто-то снял в моем кабинете трубку, и мужской голос нетерпеливо сказал:

– Ну?! Кто там еще?

– Это номер 233-20?

– Да, да, да!! Что нужно?

– Кто вы такой? – спросил я.

Около полминуты там царило молчанье. Потом тот же голос неуверенно заявил:

– Хозяина нет дома.

– Еще бы! – сердито вскричал я. – Конечно, нет дома, когда я и есть хозяин!! Кто вы такой и что вы там делаете?

– Нас двое. Постойте, я сейчас позову товарища. Гриша, пойди-ка к телефону.

Другой голос донесся до меня:

– Ну что там еще? Все время звонят, то один, то другой. Работать не дают!! Что нужно?

– Что вы делаете в моей квартире?!! – взревел я.

– Ах, это вы... Хозяин? Послушайте, хозяин... Где у вас ключи от письменного стола?!! Искали, искали – голову сломать можно.

– Какие ключи?! Зачем?

– Да ведь не ломать же нам всех одиннадцати ящиков! – ответил рассудительный голос. – Конечно, если не найдем ключей, придется взломать замки, но это много возни. Да и вы должны бы пожалеть стол. Столик-то небось недешевый. Рублей, поди, двести? Коверкать его – что толку?..

– Ах вы, мерзавцы, мерзавцы, – вскричал я с горечью. – Это вы, значит, забрались обокрасть меня!.. Хорошо же!.. Не успеете убежать, как я подниму на ноги весь дом.

– Ну, улита едет, когда-то будет, – произнес рассудительный голос. – Мы десять раз как уйти успеем. Так как же, барин, а? Ключи-то от стола – дома или где?

– Жулики вы проклятые, собачье отродье! – бросал я в трубку жестокие слова, стараясь вложить в них как можно больше яду и обидного смысла. – Сгниете вы в тюрьме, как черви. Чтоб у вас руки поотсыхали, разбойники вы анафемские! Давно, вероятно, по вас веревка плачет.

– Дурак ты, дурак, барин, – произнес тот же голос, убивавший меня своей рассудительностью. – Мы к тебе по-человечески... Просто жалко зря добро портить – мы и спро-

сили... Что ж, тебе трудно сказать, где ключи? Должен бы понимать...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.